Вл. И. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО

НА КЛАДБИЩАХ

Воспоминания
и впечатления

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В. И. Немирович-Данченко родился в Тифлисе, в семье офицера; учился в Кадетском корпусе. Результатом его частых путешествий по России и зарубежным странам стали многочисленные художественно-этнографические очерки. Немирович-Данченко был военным корреспондентом на трех последних войнах Российской империи — на русско-турецкой войне 1877–1878 гг., на русско-японской войне и на первой мировой войне. Русской армии посвящено много его художественных и документальных произведений, но наибольшую популярность у читателя он приобрел как автор развлекательных исторических романов («Королева в лохмотьях»

и т. п.). Накануне революции вышло его неполное собрание сочинений в 50 томах.

Свою жизнь писатель закончил в эмиграции, в Праге.

- Василий Иванович Немирович-Данченко
  - От автора
  - О Чехове
  - Диктатор на покое
  - Отечественный цинциннат
  - Памятка о неугасимой лампаде
  - Не герой
  - Погасшая звезда
  - Неудавшаяся дуэль
  - Мои встречи с Некрасовым
  - Рыцарь на час
  - Как живут и работают русские писатели
  - Примечания
  - Аннотированный Указатель имен
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24

- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51

Василий Иванович Немирович-Данченко
На кладбищах

От автора

«Воспоминания» писались в первые дни революции. На них поэтому отражаются впечатления так скоро минувших событий, великих облетевших надежд и ярких миражей, сменившихся суровою, беспощадною действительностью. Непонятною одним, страшною другим. Стихийное творчество, как и мировое разрушение не справляются ни с катехизисом, ни со сводом законов, как бы мудры они накануне ни казались всем, кто приговорен торжествующей новью к смерти и уничтожению. Ведь в Истории чаще, чем думают, логика сменяется неизбежностью. Бродя по полузабытым кладбищам, невольно воскрешаешь мертвецов, независимо от того, какие они играли роли — большие или малые. Ведешь с ними нескончаемые беседы, повторяешь прошлые. Впоследствии они понадобятся бытописателю, который пожелает, как библейская Руфь, со скошенных пажитей собрать и эти оставшиеся колосья. Медовый месяц революции прошел. Начни я эту книгу теперь, многое в ней написалось бы иначе. Но мне именно дороги тогдашние настроения. Хотелось сохранить в наши рабочие будни радужные отсветы погасших праздничных огней. Притом же мои «Воспоминания» печатались далеко от меня, и по старой рукописи нельзя было пройти корректирующему сегодня. Пусть же в них отражается то время, со всеми его плюсами и минусами. Это тоже нужно и имеет право на существование.

Неодолимые условия нашей яви помешали сделать некоторые исправления и даже восстановить опущенные места. Записки о Чехове читались неоднократно публично, и из них выпали две-три страницы. Таким образом, на стр. 47, между строками 18–19, оказался досадный пропуск. Разумеется, не по вине типографии, а по моей: несколько анекдотический рассказ насмешливого Вас. Пант. Долматова о странствии его с А. П. Чеховым и Влад. Тихоновым по ранним обедням ведется как бы от моего лица. Далматовское «я» — оказалось моим.

Беглые воспоминания о Д. А. Милютине — только дополнение к тому, что о нем было мною напечатано ранее [1]. По цензурным условиям эта глава, разумеется, в свое время появиться не могла. О гр. Лорис-Меликове я тоже дал немногое, потому что мои записки о нем находятся в прекрасном далеке. Писать приходится в Петрограде, а дневники, которые я вел когда-то, и памятные книжки остались в Италии…

Все, помещенное в эту книгу, — является в первый раз.

О Чехове

Не раз хотелось писать об Антоне Павловиче Чехове, но мне было так трудно передать о нем мои воспоминания. Почему-то он мне представляется весь в нежных полутонах, неуловимых, как некоторые Мурильевские картины, где в сгущенных сумерках надо угадывать неясные фигуры.

На юге есть такие туманы: палевые, и в них теряется определенность и четкость очертаний. Образы писателя были определенны и выпуклы, но он сам, удивительно зоркий наблюдатель струившейся мимо жизни, оставался в стороне красивою и милою загадкою для тех, кто, как я, встречался с ним то часто за границей, то с большими промежутками в России.

Я никогда не был с ним очень близок, если исключить три месяца, проведенных вместе в маленьком русском пансионе в Ницце.

Сейчас я роюсь в прошлом и, точно во влажный вешний день, любуюсь зыбкими, едва намеченными сквозною молодою листвою тенями. Может быть, он и не был таким, и, по всей вероятности, друзьям, лучше его знавшим, он является в более точных рисунках и ярких красках, но это все равно. Я говорю о моих личных впечатлениях, и только.

Думаю, что негативы, взятые слишком близко, лицом к лицу, часто уступают таким же издали. В последних более цельности, особенно, когда дело идет о крупных величинах с их соотношениями ко всему окружающему.

— Меньше всего знает мужа его жена именно потому, что видит его каждый день. Она хорошо помнит, где у него обрывались пуговицы, пришитые ею, но самого человека заслоняют такие мелочи, сквозь которые, как в ином лесу сквозь кустарник, не пробраться. Он, может быть, велик, а она никак не забудет, как он храпел и не давал ей спать или ссорился с нею из-за не вовремя поданного счета кухарки.

Это — слова самого Антона Павловича, врезавшиеся в мою память. Мы с ним тогда смялись над тем, как одна итальянка определяла своего, ну мужа, что ли, — одного из крупнейших и талантливейших русских ученых и профессоров.

— Не понимаю, почему его все так уважают, а он терпеть не может, когда мясо жарят на самом лучшем оливковом масле. И когда он спит — кажется, что рядом кто-то полощет себе горло.

Только она и могла вынести из долголетней близости с ним.

Сверх того, о таких любимцах своего интимного кружка, как Чехов, трудно писать потому, что многие «друзья», зачислившие

себя в этот, если хотите, завидный чин уже после смерти писателя, — очень ревниво оберегают свое захватное право: свидетельствовать ложно о покойнике. Каждого, кто это делает, хотя и правдиво, они готовы взять за шиворот и сдать любому казенному городовому: «Караул, меня обокрали!»

Кому случалось одиноко проводить вечера за письменным столом, тот знает, как из потемочных углов на него смотрело его прошлое, далекое-далекое, едва различимое.

Оторвешься в раздумье от работы, откинешься, и за маленьким световым кругом от абажура лампы оно, это прошлое, мерещится отовсюду.

Так именно намечается передо мною первое мое свидание с бледным и веселым юношей у другого — и тогда малоизвестного, а теперь и вовсе забытого — романиста, поэта и фотографа (за что только он ни брался!) Хрущова-Сокольникова. Случилось это в Москве. И Чехов еще не был Чеховым, а в печати впервые появился «Антоша Чехонте».

Я вернулся из первой поездки в Италию и, должно быть, уже слишком был в восторженном угаре только что пережитых впечатлений. Рассказывал о них и вдруг из угла послышалось:

— Эх, грошей не ма! А то бы и я… Нет, впрочем, не хочу туда!

— Почему?

— Слушайте же… Лакированная она у вас какая-то… Италия! Точно новый паркет, только что полотеры ушли — он весь и горит… И потом скользко…

— Это в старых галереях, в развалинах?

— И все-таки, хоть и обвалилась и потрескалась, а лакированная. Вот вы, например, о дожде в Вероне, так ведь дождь-то ее еще больше обмыл, и мокрая она так блестит на солнце. Потом вся она каменная. Домам на земле тесно, сбились в кучу и на небо лезут. Вон, по-вашему, в Генуе дылды в девять этажей.

— И по двенадцати есть в порту.

— Ну вот, это уж не жизнь, а воздухоплавание… С Ивана Великого только и приятно, что плюнуть на голову*** (он назвал одного тогдашнего издателя), когда он аванса не даст. Да и Вероны никакой нет. Ее Шекспир выдумал, а вы ее видели на декорациях «Ромео и Джульетты». Нет, я, слушайте, простор люблю и деревенский домик, и петуха на заборе, и гусей в пруду, и ракиты… И длинные сумерки на крылечке. А из кухни чтобы жареным поросенком пахло.

Его все-таки через много лет вытащил А. С. Суворин, и именно в Венецию. Потом уже старик рассказывал мне.

— Вот уж… Антон Павлович там ни на что не смотрел. Больше с Алешей (сын его) в винт играл. В Венеции мне хотелось, чтобы он памятник Кановы осмотрел. Знаете: на piazza degli Frari [2]. Взял с него слово. Утром спрашиваю: — Видели? — Видел! — Ну что ж? — Хоть сейчас на Волково кладбище! — Я даже плюнул. А потом добился: он там и не был. Купил себе открытку с этим памятником и на том успокоился. Упрекаю его — а он: «А зачем мне? Я ведь не собираюсь открывать мастерскую надгробных монументов для рогожских купцов». Идем мы с ним мимо великолепной конной статуи кондотьери Коллеоне. Я останавливаюсь, а он: «Да ну, Алексей Сергеевич, пойдем. Есть на что: мало вы в Берлине конных городовых видели!» Или винтит или сидит у Квадри и ест granita d'arancio [3]. «Голуби-то, — радуется, — совсем, как у нас на Собачьей площадке».

Было ли это безразличием, отсутствием любознательности? Нет, разумеется. Но он до болезненности страстно любил Россию. Зарубежные дива его занимали не много. Он проходил мимо, спокойный. У нас есть все, говорил он, и яркое, и тусклое. Почему-то нас называют серенькими в серенькой природе, — а мы раскинулись вон как, и у нас найдутся и краски, и такие эффекты, до которых, пожалуй, и вашей Италии далеко. Ее, эту Италию, еще здорово смыть надо, чтобы она уж не очень блестела.

Разгадка такого отношения к странам, куда нас тянет так сильно, была в том, что как тонкий психолог Чехов интересовался больше человеком, чем сценой, на которой тот действует. И человеком у себя дома. Чужого — еще пойми, да и к чему? У него свои изобразители, а родное постоянно на глазах и мучит, и волнует, и требует воплощения в звуки и образы. Ему наши тусклые будни поэтому были понятнее и дороже и ближе солнечных раев…

Все это уж было позже, когда Суворин влюбился в молодой талант и старался расчистить ему дорогу от неизбежных волчцов и терний. Сам Антон Павлович в этот медовый месяц так поздно выпавшего на его долю головокружительного успеха только отошел от себя в сторону, смотрел на восторги еще вчера неведавшего о нем читателя извне и даже недоумевал:

— Вот еще нашли! Это все Григорович с Бежецким выдумали, а Суворин им поверил: он ведь сколько лет гения ищет. Многих на эту мерку прикидывал, вот и меня тоже. Талант! А Лейкин его по восьми копеек за строку ценит, и строка у него не строка, а дистанция. Сколько лет пишет Чехонте! Правда, Левинский меня по плечу хлопал: не без способностей-де парнишка, — но ведь до гения, как до звезды небесной…

Я кстати вспомнил о Бежецком. Теперь он больной, со сломанной и плохо сросшейся ногой, старый писатель и профессор, мало оцененный по достоинству.

Григорович в истории нашей литературы является чуть не Колумбом, открывшим Чехова. Это не совсем справедливо. Первый, кто не раз говорил об этой Америке Суворину, был именно Бежецкий (А. Н. Маслов), сам талантливый беллетрист и драматург, чуткий и не раз обращавший внимание на прекрасные миниатюры «Антоши Чехонте». Лейкин, потом не в меру гордившийся тем, что он приютил в своих «Осколках» будущего великого писателя, считал его чем-то вроде зауряд-прапорщика. Когда Антон Павлович потребовал с него прибавку в 2 коп. за строку, тот огорчился и вознегодовал.

— Помилуйте, если Чехову платить по десяти за строку, сколько же я должен назначить…

Не хочу раздражать самолюбий и потому умалчиваю имя одной инфузории, которая и под микроскопом-то едва различима в капельке из литературной Мойки. Родовые боли, пережитые Чеховым, были трудны и мучительны. Он бился из всех сил, работая по мелочам, слишком гордый для того, чтобы искать себе места в кружковщине крупных изданий. Он любил свободу и независимость прежде всего: не он искал — а его нашли.

Кто-то изображал Чехова застенчивым.

Совсем не то слово.

Он, как всякая крупная творческая сила, был спокоен и скромен. Терпеть не мог разговоров о своих очерках. После его встречи с Вас. Вас. Верещагиным, например:

— Точно им не о чем говорить. Уж кому-кому, а Верещагину стыдно, кажется. Сам головой в потолок, а тоже передней расписывается. Зато Левинский меня утешил. Вчера смотрит на меня с удивлением. Спрашиваю: «Чего вы? Как козел в зеркало». А он: «Кто бы мог думать! Правда, не без способностей, я всегда это говорил, но… Этак вы, пожалуй, потребуете теперь пять копеек на строчку надбавить».

Раз, в театре Корша в Москве какая-то поклонница — настоящая песья муха — набросилась на него, точно ей до смерти пить захотелось. От восклицательных знаков перешла к цитатам, и не успел еще бедный Антон Павлович отчураться, как она одну из его страниц восторженно и крикливо наизусть, а кругом милостивые государи таращатся и по-собачьи заискивающе в глаза ему смотрят.

Чехов весь пошел красными пятнами. И, скрывая негодование под улыбкой, обернулся к приятелю:

— Слушайте же… Уведите ее. У меня в кармане свинцовка

есть. Я ведь и убить могу.

Помните А. М. Горького: что я вам балерина, что ли?..

Но это была исключительная дура. Ее любил только покойный Мачтет, которого она усердно знакомила с его собственными произведениями (одарит же природа новую девицу Кукшину столь феноменальною памятью!). Он, бывало, уставится в нее и поглаживает себе длинную, как у библейских праотцев, бороду. А поклонница, закрыв глаза и взвизгивая, чеканит строчку за строчкой.

Спрашиваю его: как вы ее выносите?

— А что?

— Да ведь липкая.

— Гм… Не скажите: у нее большой литературный вкус есть. Она хорошо понимает писателей.

Подчас гг. обыватели в этих случаях доймут так, что хоть пол провались под ногами, и то слава тебе Господи! Встреча с бенгальским тигром в джунглях не так ужасна! И, во всяком случае, более интересна.

Чехов не выносил и более скромного любопытства на свой счет.

— Слушайте же… Давайте о другом. Тоже нашли предмет.

Или делался мрачным.

— Знаете: заграница одним хороша — никому до тебя никакого дела. Ходи вольно! А то, помилуйте, пошел я к Тестову (очень подовые пироги люблю!), а напротив какой-то купец бараний бок с кашей ел. «Смотри, Чехов!» Выпучился на меня, поперхнулся и всю даму жирной гречихой обрызгал. Та ему благим матом: «Ты что ж, дурак, медведя на Кузнецком увидел, что ли? Все мне платье испортил, по двенадцати рублей аршин у Сапожниковых плачено. И Чехов твой этого не стоит!» Слушайте же — ну что тут красивого? Не дали подового пирога окончить.

Но и заграница не долго его баловала таким сравнительным покоем. Заграница заграничe рознь. Особенно Ницца — город тогда почти русский.

Я не могу забыть встречи в Ницце с одною из самых неистовых наших соотечественниц. На беду А. П. Чехова мы с ним как-то пошли завтракать в «Reserve». Я был ей накануне представлен. Она оказалась за соседним столом. Ей сказали, кто со мной, и вдруг, не успели мы еще заказать себе, как она на всю залу мне:

— C'est monsieur Tchekoff. [4]

И произнесла, как будто забыла русские «ч» и «х» — Тшекоff.

— Alors presentez le moi, je veux faire sa connaissance… [5] Пришлось представить. Какой-то недоносок рядом взбросил

монокль в глаз и тоже: «Tiensi c'est monsieur Tchekoff» [6]. И французу около — и француз-то был поганый с лакированной мордашкой и усами штопором: «Это русский писатель… Celebre!» [7]. И во все глаза на Антона Павловича… Дама, разумеется, захотела сейчас же поразить всех своей образованностью, и с места:

— Ах, я так люблю писателей… У меня бывают… M-sieur Forcer [8]… Вы его знаете, он в Petit Nicois [9]… Когда я приехала, он обо мне целую статью: La belle de Moscou [10]… Хотите, я вас ему представлю? Скажите, М. Тшekoff, вы в каком роде пишете?.. Вот князь (кивок по направлению к своему кавалеру) уверяет, что вы почти русский Мопассан… C'est tres joli — Maupassant [11]… Хоть я больше люблю Шерлока Гольмса… У нас так не умеют. Я вашего Толстого не выношу, хоть он и граф… У него все a la moujik [12]… А что вы теперь творите? (Не пишете, а творите!)

И Чехов мрачно:

— «Хороший тон» Германа Гоппе.

— Это что же, роман?

— Вроде…

— А как Лейкин — вы не можете? Вчера у августейшего (подразумевался поклонник этого писателя, вел. кн. Алексей) читали его. Лейкин, это очень смешно… Ce sont les купец, toujours les coupetz [14].

Такие, разумеется, и между нашими редки… Но, действительно, бедному Антону Павловичу иногда от его поклонниц житья не было. Сядешь на скамейку Promenade des Anglais [15], засмотришься на сиреневое море, дышишь чудесным солоноватым воздухом, и вдруг рядом пара соотечественниц… И бесцеремонно.

— Chere [16], ты читала последнюю вещь Антона Павловича Чехова?

Как будто не знает его.

— Ах, какая прелесть… Понимаешь…

И начинает рассказывать содержание, разумеется, перевирая его.

Но Ницца это — город в то время русский. Там, пожалуй, наш язык слышался чаще французского — а Европа была действительно отдыхом и для Чехова, и для более ранних писателей.

Туда стремились все почти — и в самые глухие уголки ее.

Как-то в Петербурге вышли мы с ним поздно ночью от Гнедича. Тогда еще его мучила свойственная каждому таланту неуверенность в себе.

— Они говорят, а я им совсем не верю.

— То есть?

— Очень просто. Иной раз кажется: выдумали они меня нарочно и назло тычут мною в глаза кому-то. Только Далматов меня утешил: хороший ты, говорит, писатель, не стану спорить, а попробуй-ка Рюи-Блаза сыграть? Посмотрю я, как ты в окно вскочишь!

Меня еще в «Чехонте» поражала своеобразная тонкая наблюдательность. От него ничто не ускользало. Он окружающее воспринимал полностью. Вот уж именно был без шор. И свет, и тени на его внутреннем негативе ложились со всех сторон с изумительною точностью и пропорциональностью. Ничто не выступало в ущерб другому преувеличенным, подчеркнутым. Он часто жертвовал рельефом и красками — простой будничной правде. Он не только не злоупотреблял ими — в нем было какое-то монашеское целомудрие, сдержанность и скромность. Бывало, говорит о чем-нибудь (редко, он чаще отмалчивался, слушал и занотовывал в памяти) и вдруг точно из мешка посыпятся у него и сравнения, и тонкие черточки, и неуловимые для других подробности. У наших крупнейших писателей они часто загромождают целые страницы. Но одно дело разговор — другое бумага. На бумаге Чехов был скуп на такую разменную монету. Он в письме любил характеризовать своих действующих лиц одною какой-нибудь совсем незначительною, по-видимому, мелочью. Но только по-видимому. Кажется, ни к чему она, а в ней весь человек, и она к нему приклеивалась, как ярлык. Вы видите «милостивого государя» живым. В интимном разговоре, случалось, А. П. уходил в подробности, нанизывал их, как зерна в четках, но стоило ему взяться за перо, как в его творческой работе начинала действовать точно какая-то веялка. Просеивалось настоящее, цельное, самое нужное, полновесное зерно и отбрасывались шелуха и сор. Возьмите карандаш, разверните наугад любую страницу наших первоклассных мастеров — Достоевского, Тургенева — вы найдете всегда, что можно без ущерба вычеркнуть. Но самому придирчивому критику не удалось бы совершить такой операции над Чеховым.

Я сказал: аскетическое целомудрие творчества…

Но оно предполагает нечто намеренное. Я думаю, что в Чехове его внутренний, подсознательный аппарат работал таким образом. Антон Павлович, если бы и хотел, не мог бы писать иначе. Или просто это была строгость к себе и порою мучительная неуверенность: все-де говорят, а вдруг это неправда. У него как-то раз вырвалось: «Счастливый человек Мачтет! Сам убежден, что он великий талант, и это помогает ему жить. Попробуй его переспорить. Он вас будет сверху слушать! А я вот… Вы, кажется,

рассказывали о***. Целый театр ему восторженно аплодирует, а*** уходит в уборную переодеться и спрашивает у вас: «За что это мне?.. Я, кажется, сегодня совсем не в ударе был».

В каждом талантливом писателе, как червяк в яблоке, живет и разъедает его сомнение: да, полно, стою ли я? А вдруг это наваждение, и завтра все от меня отвернутся? Не то ли самое выразил так ярко поэт: «Мысль изреченная есть ложь»? Все, что выйдет из-под твоего пера, а тем более из-под печатного станка, является и бледнее, и бессильнее того, что рисовалось в бессонные ночи и складывалось в молчании и самоуглублении писателя. Точно кто-то стер все рельефы и оставил одни только неясные очертания на плоской доске… Вероятно, и Чехову — все «изреченное» казалось недостойным того, что он задумывал…

А работал он, действительно, — порою страдальчески, трудно, точно на каждом слове сам себя поправляя, проверяя, обрезывая крылья воображению, не давая ему простора ни вверх, ни в стороны. Как будто он боялся самого себя. Самоограничивал. Вначале, говорят, ему все давалось легко. За один присест набрасывал страницу за страницей. Потом выработалась требовательность к себе. Успех обязал. Думаю, что он больше всего боялся изменить правде жизни.

В Ницце наши комнаты были рядом.

Моя смотрела большими окнами на золотые закаты и горевшее под ними море. Чехов любил эти прощальные часы южного дня, но ему было предписано врачами ни под каким предлогом именно в эту пору не оставаться вне комнаты.

— Мой враг умирающее солнце… А я его страшно люблю!

Он приходил ко мне и подолгу смотрел в стекла закрытого окна. Золотились пальмы, розовело небо, ярким полымем тлели по краям облака. И дождавшись, когда солнце уходило в резкую черту морского горизонта, Антон Павлович возвращался к себе. От него — другая картина. Еще сияли аметистовые горы на северо-востоке и неясная полупрозрачная синь медленно ползла по садам и рощам…

Как-то вечером я вернулся и вспомнил, что он просил меня заглянуть к нему. У него было темно. Электричество в наш скромный пансион проведено не было. У Чехова только и света, что под зеленым абажуром тусклой лампы на круглом столе посредине большой комнаты, довольно-таки мрачной в этот час наступающей ночи. Под абажуром начатый лист бумаги. Осматриваюсь. Точно утонувший во мрак, в углу едва-едва мерещится Антон Павлович. Уселся в глубокое кресло. И без того бледное лицо кажется еще более похудевшим, чуть намеченное. И глаза ушли, далеко, точно присматриваются к чему-то за этими

стенами.

— Сейчас…

Встал. Подошел к столу. Написал строчку и опять в свой угол. Через минуту вновь под абажур. Вычеркнул набросанное. Я хотел уйти.

— Погодите!

И опять Чехов у стола. Новая строка… И еще раз то же — вычеркнул и опять вывел…

— Слушайте же. Сегодня легко пишется.

Смотрю на него — шутит он? Нет, лицо серьезное.

— Вообще работается трудно, только не сейчас. Ужасно легко думать, что именно напишешь. Кажется, всего и остается: присесть — и перебелить готовое в голове. А начнешь — и пойдет московская мостовая. О каждый булыжник встряхивает… Спотыкаешься… А иногда как по рельсам целые страницы. По-старому, пожалуй, во вдохновение уверовал бы. Только такие страницы не очень удачны.

Так у меня и осталось в памяти зеленое пятно от лампы в потемках и бледный неясный Рембрандтовский облик Антона Павловича в углу. Об одном из крупнейших писателей он говорил:

— Слушайте же, я никому так, как Игнатию Николаевичу, не завидую… Его манере письма. Большой талант, и работник же! Заграницей у него бы давно и виллы были свои, и отель в Париже, и в Лионском Кредите, по крайней мере, миллион. А у нас он с хлеба на квас, милый человек, околачивается!..

— Чему же вы завидуете?

— Как же? Он всегда может писать. Надо, чтобы у него мигрень в висках сверлила и кругом все, кому не лень, шумели. А он присядет к уголку — непременно к уголку — стола, съежится над ним и мелко-мелко лист за листом исписывает…

— Ночь хороша? — помолчав, спрашивает.

— Да. Тепло и звездно. Море притаилось.

— А что, если мы пойдем на набережную?.. Впрочем, нет. Слушайте, у меня сегодня в груди точно «мыши скребутся». Посидим лучше. Вот, Якоби! То совсем некстати шляется, а то точно утонет. Вытерли его резинкой и нет его. А сейчас я бы ему обрадовался. Все-таки живой человек, хоть надоедная страсть у него старые анекдоты рассказывать, такие, которые все попугаи наизусть знают. Верно, в Монте-Карло поехал на чужие выигрыши облизываться.

Оглядываешься назад — на все пройденные пути, и на них точно вехи — могилы. Позади не жизнь, а кладбище! С Якоби Чехов в Ницце встречался чуть не каждый день. Знаменитый

художник только что рассорился тогда с Академией. Отряхнул прах от сандалий и, как всегда это бывает, чуть не отплевывался, вспоминая ее. Точно alma-mater на всю остальную жизнь ему поперек горла стала. Был он милый человек и хороший товарищ, но никак не мог позабыть, что когда-то считался красавцем, и до последних дней своих мнил себя таким, хотя в его вандиковском воротнике дряблая, морщинистая и худая шея — торчала, как у заколотой и ощипанной курицы в птичьей лавке. Волосы и бороденку он себе красил в разные сверхъестественные цвета — это под предательским южным солнцем — и, запахнувшись в чайльд-гарольдовский плащ, он так победоносно смотрел на всех женщин, что одна, в том же Монте-Карло, схватила его за хохолок (меланхолическое воспоминание о когда-то великолепной шевелюре!) и крикнула на всю террасу:

— Bonjour, mon coco! [17]

Я уже говорил о его великой страсти рассказывать такие похабные анекдоты и повторять старые заплесневевшие остроты, от которых любого купеческого почтенного кладеного кота стошнило бы.

Он, впрочем, был очень добродушен. Раз А. П. Чехов не выдержал и остановил его:

— И когда вы перестанете первый своим анекдотам смеяться? Вы посмотрите, Максиму Максимовичу (Ковалевскому) плакать хочется, а вы хохочете.

— Разве не смешно?

— Да ведь такие во блаженные памяти Императриксы Елисавет царствование наши прапрадедушки прапрабабушкам рассказывали, и то на ухо. Точно вы бригадир с полинявшего портрета в лавке старого старья у Сухаревской башни.

— Ну, вы тоже!

И Якоби надувался, но ненадолго и через минуту-две начинал снова.

— Ну, уж на этот раз… Знаете, у нас на Васильевском острове брандмайор был…

Я, думаю, не оскорблю прекрасной памяти крупного художника и гражданина Валерия Ив. Якобия, давшего русскому искусству ряд великолепных картин — таких, как «Петр и Царевич Алексей», «Утро во дворце Императрицы Анны», «Привал арестантов», «Ледяной дом», «Робеспьер», «Волынский в кабинете министров», «Светлый праздник нищего», «Смерть Бирона», «Соколиная охота» и ряд ярких солнечных этюдов африканской пустыни. У больших людей часты мелкие недостатки. Они делают еще милее и ближе нам, простым смертным, тех, кто несколькими головами перерастает толпу. Смотришь на них и думаешь: это

плоть от плоти, кость от костей наших, и роднишь их со всем человечеством. Их недочеты — наши, их заслуги и гений — принадлежат им. Якоби в это время уже подтачивал недуг, который вскоре и свел его в могилу. Как-то он оказался особенно в ударе. Рассказывал нам о великой княгине Марии Павловне — жене Владимира, которая через несколько лет, уже после смерти его, была президентом Академии Художеств. Эта дама, поставленная, таким образом, во главе российской живописи и скульптуры, столько же понимала в них, сколько другой вел. князь — Алексей — в морском деле. Что эта знаменитая компания ухлопала народных денег на глупые опыты и еще более глупые покровительства всевозможной междуплеменной челяди, один Бог знает, да и тот никогда никому не расскажет. Ведь говорили же про любовницу нашего морского министра, жадную француженку Балетта, что она разъелась на русских дредноутах, получая за каждый заказ по нескольку миллионов и часто проглатывая, не поперхнувшись, целые днища океанских гигантов, выходивших из Тулонских верфей однодонными. Мария Павловна, в рассказах знавшего ее близко художника, являлась истинным изображением того изумительного времени, когда по высочайшему повелению безграмотные сибирские попы делались митрополитами, пьяные конокрады — ближайшими вдохновителями императорского правительства, кабацкие затычки и завсегдатаи публичных домов — вершителями верховной воли и блюстителями народного достоинства.

Мария Павловна в Академии — она еще не была президентом этой художественной Сахары:

— Это, разумеется, этюды Рафаэля? Я видела их в немецком журнале «Die Kunst» [18].

— Так точно! — угодливо забегает вперед художник — из желающих попасть под августейший взгляд.

Я было заикнулся: «Это Иванова!» — как на меня со всех сторон угрожающие персты. А елейный (голова на бок и в глазах всеподданнейшая преданность) москвич шипит мне на ухо: «Разве великая княгиня может ошибаться?»

— А это, узнаю, — разумеется, Константин Маковский.

Тут уж и такой царедворец, как «тогдашний», Якоби не выдержал.

— Ваше высочество, это мое!

— Неужели… А ведь совсем Маковский!

— Да… Да… Удивительное сходство в письме и в колорите! — восторженно заговорили вокруг алкавшие и жаждавшие высочайшей милости.

За то эта августейшая невежда торговалась, как маклак, при

жизни ее супруга, когда хотела купить что-нибудь нравившееся ей лично. Если автор не уступал, секретарь Академии и прочие придворные льстецы и прихлебатели — ему намекали: «Отдайте, мы вас компенсируем из других источников».

И отдавал.

Один из ловких малых все-таки поднадул ее.

Продал ей какого-то Малафеева за Гверчино. Висит ли эта голова Христа до сих пор во Флорентийском палаццо на Дворцовой набережной, или ее убрали?

После этих рассказов, ценных для летописца нашей неразберихи, Якоби опять утонул в банальщине затрапезных анекдотов и сам уже не хохотал над ними, а как-то надтреснуто дребезжал тошнотворным остротам.

Идет от него со мною Чехов.

— А Якоби скоро умрет.

— Это почему?

— Самого себя обманывает. Вы всмотритесь: рассказывает гадости, а в глазах у него ужас. Слушайте, ведь это же видно… Да, впрочем…

Он выдержал паузу.

— Мы все… приговоренные.

— С самого рождения.

— Нет, я про себя. Мы в первую очередь. Вы еще жить будете. Вон у вас какие татарские ребра и легкие — меха кузнечные… Придете сюда к морю. Сядете на эту скамью… Какая даль сегодня! Посмотрите, вон парус. Совсем крыло. Это я у вас прочел. Сравнение очень верно. А вот какого оно цвета, море?

Смотрел, смотрел. Думал.

— Сиреневое! Слушайте же — сиреневое, ведь! Это уж мое. Завтра патент возьму, чтобы приятели не украли.

Потом уже я у него прочел это сравнение.

— Да, да… сиреневое и в складках!

— Да, всем жить! — опять потемнел он: — И вон той паршивой собаке, если ее фурманщик не зацепит. А я буду упокояться во блаженном успении. А, ведь, слушайте же, так мне жить хочется… Чтобы написать большое-большое. К крупному тянет, как пьяницу на водку. А в ушах загодя — вечная память. Иной раз мне кажется — все люди слепы. Видят вдаль и по сторонам, а рядом локоть к локтю смерть, и ее нарочно никто не замечает или не хочет заметить. Точно сговорились, без слов. Вон Якоби, тот себя одурманивает смешными анекдотами. А ведь, как и я: видит ее, видит… В бессонницу воображает себя молодым красавцем, необыкновенно пленительным. Обманывается сказкой. Все люди трусы. Одни морочатся оккультизмом. Этакая,

слушайте, цаца — тысячу раз жила! Другой матушка земля создать не может, все зады повторяет. Опять того же Ивана Ивановича на свет роди в новом издании. Подумаешь! Соломко, например, уверяет, что он был жрецом-скрибом в Мемфисском храме, а Далматов гладиатором и с самой Мессалиной путался. Луговой Алексис либр-пансером притворяется, а на спиритические сеансы бегает свою мамашу вызывать. Это же так понятно. Я вот помню: в Татьянин день у Яра Мачтет напился, влез на стол и умолял товарищей: похороните меня рядом с Гоголем… — Зачем? — спрашиваю. — А как же? Кто первый воскреснет, тот другого разбудит. — Кто-то ему, кажется, Гольцев: да, может быть, он уже воскрес и перевоплотился! — Ну нет, иначе я его в себе почувствовал бы.

В этот день был такой великолепный закат.

Как я уже говорил — перемена температуры в этот час гибельна для слабогрудых. Из своей комнаты Антон Павлович перешел ко мне. Весь запад в багрянце. На листве вспыхивало и трепетало пламя.

Магнолии — их большие и белые, как молоко, цветы — порозовели, точно бледные лица, залитые румянцем. Лилии казались горевшими кадилами. Худые, тонкие пальцы Чехова поводило.

— А все-таки я ее надую.

— Кого?

— Курносую. Врут все и вовсе мне не опасно… И зачем я только их слушаю? Сам доктор, и хороший доктор! — упрямо подчеркнул он, точно кто-нибудь его оспаривал. — Отчего вы у меня не лечитесь?

— А потому, что я не болен.

— Жаль, а то бы я вас, ей-Богу, вылечил. Не напрасно мертвецов потрошил, знаю. У кого нынче грудь сильна? У вас! Так разве вы человек?..

— Благодарю.

— Слушайте же. Я об организме. Ассирийские быки такие были. Видели — снимки с раскопок? Навуходоносор на подножном корму, когда его Иегова обидел. Так и вы. Разве это грудь? Наковальня. Ведь, в самом деле, чепуха. Вон пробирная палатка (о нем ниже) идет, снял шапо и лоб вытирает. Жарко, а я сиди дома. Мои родные и похуже меня были, а до семидесяти лет доживали. Я вот говорю: сам доктор. А самому доктором быть скверно. Все преувеличиваешь. Всякую мелочь на научную мерку. На что вам с вашей наковальней наплевать — для меня уже показатель. А показатели брешут и только жить Эскулапам мешают. Возьму и начихать мне на всех, и прежде всего самого

себя надую. Пожалуй, еще до такого нахальства дойду, что, как Вейнберг, ни одних похорон не пропущу. Буду над каждой могилой речи произносить. С бюро похоронных процессий заключу условие: так и в счетах будет. «Купцу первой гильдии Синепопову за речь писателя Чехова над могилою родителя, коммерции советника и кавалера Ионы Синепопова тож — пятьсот рублей». При удаче — хорошенькая эпидемия, например, или широкая масленица с кислой капустой на первой неделе поста — все пятнадцать тысяч в месяц. Чем не заработок?

И засмеялся, и повеселели и мы. Кстати, подошли другие русские, чуть не до двух часов ночи проболтали.

С этого дня Чехов чувствовал себя повышенно бодро.

И я от всей души верил ему.

— Слушайте, врачи мне наврали про мою болезнь, а я им поверил. Еще как поживем! Потанцуем на вашей свадьбе. Куплю вот козу и буду ее сосать. Или коровьи сливки ведрами пить. А то, как нероновская Поппея, купаться в молоке девятисот ослиц!..

Потом, когда я уже встречал его в Петербурге и в Ялте, он сильно в этом отношении переменился. О болезни избегал говорить и терпеть не мог, когда ему замечали: «Вы сегодня очень хорошо смотрите! Отличный вид у вас!» Он морщился и ронял: «У меня всегда хороший вид!»

Он даже сделался суеверен в этом отношении. Запоминал сны, интересовался приметами.

Еще за год до «русского пансиона» в Ницце мы встретились в Больё, в прелестной Villa Batavia у Максима Максимовича Ковалевского. Тогда на Ривьере жило много наших писателей, профессоров и врачей. Между прочим, Джаншиев и, кажется, А. Н. Плещеев. А. П. Чехов чувствовал себя великолепно и только понять не мог: зачем его сюда послали — на юг? На одном из завтраков у Ковалевского он вдруг ни с того ни с сего:

— Слушайте же, я, ей-Богу, буду теперь некрологи писать.

— Какие некрологи?

— Почему именно некрологи?

— А вот чувствую, что я именно для этого создан. Человеку с фантазией воспоминания — лафа. Ври, сколько хочешь. Нынче покойники не стучатся в окно. Я так и сделаю: сначала буду морить больных за хороший гонорар, а потом за еще лучший вспоминать их.

В Ницце по субботам в одном из пансионов давали так называемые «русские обеды». На них бывал и Чехов.

У Антона Павловича то и дело вырывалось:

— Ну, зачем я здесь?

— Разве плохо?

— Нет, а только все чужое. В Москву хочу.

Потом в «Трех сестрах» это «в Москву, в Москву!» прозвучало, как лейтмотив. Так и у него оно выходило — подчеркнуто, с особенным ударением. Те, которые не слышали этого от самого Чехова, не понимали всей тоски и мечтательности его восклицания «в Москву, в Москву».

— А то еще куда меня гонят? В Африку. Что я Васко да Гама, что ли? Ведь это, слушайте же, в опере хорошо… Ни за что не поеду. Тоже нашли Стенли. Пусть Василий Иванович едет. Его мамка в детстве ушибла. Ему чем дальше, тем лучше… А я ни за что. Мало я черномази видал! Даже если мне еще тарелку гречневой каши дадут, не поеду!

И, разумеется, на зиму все-таки поехал, если мне не изменяет память.

Как-то выходим от Ковалевского.

В его саду только что поднялась великолепная пальма. Ствол еще не подрос, и вся она роскошным венцом точно к земле припала.

— В Москву хочу!

— Ну что в Москве хорошего? — смялся я. — Посмотрите здесь — какая это прелесть!

Чехов с ненавистью взглянул на пальму.

— Нашли тоже: жирная индюшка села, и встать ей трудно. То ли дело наши березки. Скромные, стыдливые, беленькие. Совсем мещанские невесты из старозаветной, хорошей семьи. Вывели Феничку к жениху, а она не знает, куда ей глаза девать. А то еще сравнение — пальма! просто громадный кочан какой-то — нашли красоту!

В последние годы он стал молчалив, а тогда любил думать вслух.

— Я только что из Ментоны. Сидели рядом на берегу в креслах чахоточные. Ноги в толстых пледах, теплые шапки на нос надвинуты. Злятся и плюются. А море, здоровое, сильное, смелое, катится к ним. У кресел жены или мужья. Хорошо бы написать, как они ненавидят этих умирающих, как рабы, прикованные к галерам. И про себя думают: скоро ли тебя, подлеца, черти унесут… И только природе нет дела ни до тех, ни до других.

Немного спустя:

— Пришло мне, слушайте, очерк один. Сельская учительница в крестьянском возке. Едет в город за жалованьем. Наголодалась и нахолодалась. Сама в овчинном тулупе, в сапогах. Лицо бурое, грубое, обветренное. Грязью захлестало всю. Шелудивая лошаденка добежала до чугунки и стоп — проезду нет. Опустила голову, тяжело дышит. Мимо громыхают вагоны. В окнах первого

и второго классов мелькают молодые, нежные девушки. Хорошо одетые. Вот и вагон-ресторан бежит. Чисто, тепло, сытно. Учительница смотрит, в каждом улыбающемся тонком личике себя узнает. Такой, какою сама была несколько лет назад… Подняли шлагбаум. Возок покатился. Мужичонка корявый, жесткий, как мозоль, оглядывается, что это-де случилось? Видит и понять не может, чего это учительша ревет. — «Нешто кто тебя обидел?» — Сама себя обидела.

Мне это понравилось.

Через несколько лет спрашиваю:

— Написали?

— Нет, что ж… И не буду. Не выходит как-то. Не стоит.

Я начал возражать.

— Если хотите, вставьте при случае главку. А мне… я пробовал и разорвал.

Рвал он много начатого и неудававшегося ему. Неудававшегося, разумеется, по его мнению.

Я прожил большую жизнь. На моих глазах ушло, родилось и выросло много пишущей братии, но, повторяю, я не знал никого, кто бы так строго относился к себе, как А. П. Чехов. Легендарные десять лет, которые выдерживал в своем письменном столе рукописи И. А. Гончаров, — по нынешнему времени уходят в область дидактического баснословия. Всякая работа нынче утратила бы свое значение, особенно при ускоренном темпе современности, начавшемся уже в чеховские годы. Тургеневское «пусть спеет» было возможно, потому что у него барского doice far niente [19] оказывалось в распоряжении с зари и до зари.

Чехов жил тем, что зарабатывал, да и семью содержал. Ему нельзя было щеголять такими писательскими причудами и господскими затеями. Великому Л. Н. Толстому тоже не трудно было выжидать да по десяти раз перекраивать и передиктовывать свои сочинения. Нам, литературному пролетариату, время — деньги, и уж очень-то щедро тратить его не приходилось. Случалось продавать самые дорогие сердцу авторскому произведения на корню, и наша совесть молчала, потому что работалось впроголодь и впрохолодь. Да еще на каждый наш рубль десяток ртов было разинуто! Попробуй выдержать роман в письменном столе при деликатных намеках: «Что же это вы, батюшка, аванс взяли — а оригинала и по сию пору в типографии нет? Это уж мы вам предоставляем сообразить, как это называется между порядочными людьми», — и т. д. в том же милом и деликатном роде.

Но Чехов, действительно, каждую строчку оглядывал, взвешивал и примерял Бог весть сколько раз. Разумеется, продли

ему судьба жизнь, он — уже сравнительно более обеспеченный в своем ялтинском уголке — начал бы настоящую ювелирную обработку задуманного. Его авторская трагедия в том и заключалась, что он ушел в тот момент, когда от него можно было ожидать таких сочинений, которые составили бы эпоху в нашей изящной словесности. В этом отношении небо особенно немилостиво к русскому писателю. Вспомните Веневитинова, Пушкина, Лермонтова, Полежаева, Слепцова, Помяловского, Гаршина, Надсона.

Глупые Парки ткут без конца нити всевозможных жизней никому не нужной бездарности и обрывают те, с которыми перевились радужнейшие из наших ожиданий и надежд.

Чехова сравнивали с Мопассаном, воображая, что делают великую честь русскому писателю — одни, или ставят рядом две одинаковые величины — другие. Мне это казалось всегда обидным для памяти нашего Антона Павловича. Блестящий французский рассказчик и вдумчиво-глубокий наблюдатель русской жизни. Что же между ними общего? Разве только объем маленьких рассказов и миниатюр. Уже одно то, что у талантливого парижского новеллиста всюду почти на первом плане адюльтер, который у Чехова встречается редко и в такой скромной форме, точно его и нет совсем. Гюи де Мопассан, мастер шаржа и смеха, почти вовсе лишен юмора, которым Чехов был одарен в высшей степени. Правда, на палитре у первого были гораздо более яркие краски, но ведь неизвестно еще, не показал ли бы нам Антон Павлович такие же. Ведь нельзя же одними колерами рисовать Чухлому и Козмодемьянск или Алжир и Прованс. Такой сильный художник-наблюдатель, как автор «Трех сестер» и «Вишневого сада», разумеется, не стал бы макать свою кисть в северную мглу, чтобы смелыми штрихами набросать картины солнечного юга. А по отношению к глубине проникновения в человеческую природу, в душу маленьких, незаметных, хмурых, никчемных людей — во всю эту протоплазму конца 80-х и начала 90-х гг. — в действовавшей и действующей литературе Франции за последние сто лет, разумеется, нет никого равного Антону Павловичу. Это сравнение с Мопассаном, которое казалось вначале очень лестным маленькому Антоше Чехонте, заставляло его добродушно улыбаться, когда он дорос до настоящих размеров своего гения. «Пускай их — ведь они без ярлыка или сравнений обойтись не могут. А так навесят на человека этикетку, и рады. С нею и бессарабское за настоящий шатолафит сойдет». Разумеется, продли судьба Антону Павловичу жизнь еще на несколько лет — иное дело. Все такие сравнения и для литературных слепышей

показались бы более чем странными. Антон Павлович был отнят у нас в те годы, когда русский гений только прочно становится на ноги и чувствует мощь своих развернутых крыл. Из орленка, несомненно, разросся бы настоящий орел. В этом отношении Чехов увеличил собою Четью-Минею рано отнятых у нас судьбою властителей дум. Я хотел было сказать «угасших», но именно это не подходит к Антону Павловичу. Его костер только что разгорался ярким пламенем, и судьба задула его, когда в нем было еще многое, чему оставалось пылать. Ведь добрых 10 лет А. П. Чехов потерял на завоевание себе жизни, на борьбу с обыденщиной, в скитаниях по мелким журнальцам, набрасывал сотни крохотных рассказов из эпохи нашего печального безвременья, когда старые идеалы слиняли, идеалисты ушли со сцены, а новые еще не выступили на нее. Несомненно — проживи он еще — осуществились бы и его мечты о большом романе. Я помню, как он мне в Крыму говорил: «Не умру без большого романа. Настоящего большого. И Немировичу и всем (он не мог не подтрунивать, у него все переплеталось с шуткой) нос утру». И потом уже серьезно: «У меня он, этот роман, давно в голове. Все, что я писал, только размахивался. Пробовал. Это были этюды перед большою картиной. Отдельные черточки. Всю бы русскую жизнь хотелось втиснуть, так листов в пятьдесят-шестьдесят печатных. Меня вон с Мейсонье сравнивают, а я чувствую силы и для громадных полотен, так чтобы не стесняться размерами. Кого хочу, того и ввожу, и всем есть место».

Думаю, что роман А. П. Чехова создал бы эпоху в нашей словесности. Недаром с такою тоскою он повторял: «Ах, мне бы здоровья. Силы побольше. Страшно подумать — могу, и не сделаю, а миллионы, которые не могут и не делают, — живут, живут, живут… Мне бы еще десять лет, только десять. Я бы заперся на это время, как старцы уходили в пустыню. В Фиваиде, и там бы писал, писал, писал»…

Большой роман! Мне из-под пера Чехова он представлялся равнозначащим в литературе «Дон Кихоту» Сервантеса, «Мертвым Душам» Гоголя и «Обломову» Гончарова. Он, живописавший житейскую пошлость, — только еще начинал размахиваться на более крупное, смелое и сильное. От своего добродушного безразличия к изображаемым им людям — он уже переходил к более страстному отношению к наблюдаемым тонко и художественно явлениям. Поразительный реалист, он уже угадывал новую, слагающуюся вдали, жизнь! В этом слабом теле, потрясенном и разрушенном поездкою на Сахалин и возвращением через Сибирь, жила большая душа, которая только к 1904 году — год смерти — почуяла свою силу и рванулась на

простор… Прежнее признание действительности сменялось отрицанием ее, сознанием необходимости пером, как мечом, бороться с нею — да, большой роман скоро из мечты перешел бы в явь, и сама фигура его автора выросла бы перед нами в более грандиозном размере. Судьба, все давшая ему для этого, — все отняла у него на самом повороте с проселка на большую дорогу.

Я сказал: безразличие Чехова. Было ли это безразличием? Не думаю. Как можно было относиться иначе к тем элементарным явлениям житейской пошлости, которую тонко наблюдал и художественно изображал он? Ведь, чтобы убить блоху — не надо ни грома, ни молнии. Та явь, которая раскрывалась перед Чеховым, не стоила иного отношения. Он убил ее именно верным ее воспроизведением. Не находите ли вы, что в этой бесстрастности есть беспощадность? Вот тебе зеркало — взгляни, каков ты, и исчезни или спрячься от собственного твоего безобразия и ничтожества.

Люди, обрушивающиеся на Чехова, судят его не за то, что он написал, а за то, чего он не написал. Но это противно даже евангельскому: за словесы твоя буду судить тебя, рабе лукавый!

Чехов при том никогда не священнодействовал. Не было в нем противного лицемерия самовлюбленных ничтожеств. Много и мучительно работая, он терпеть не мог, чтобы говорили об этом. Ему нравилось слыть бездельником. Помню в той же Ницце:

— Ленюсь, баклуши бью. А публика, она наивная, воображает, что я от письменного стола не отрываюсь.

— Ну, положим.

— Что?

— Весь прошлый вечер.

— Так я притворялся. А то от культяпки нельзя было отделаться. Он все добивался, что я о «пробирной палатке» думаю.

У нас в «Русском пансионе» было два смешных постояльца.

Один, хромой, взъерошенный, ощетинившийся дыбом на весь мир и несуразный, как солдатский сапог. Приехав сюда прямо из пробирной палатки, где он был первой спицей в колеснице, вообразил себя среди простых смертных чуть ли не Киром, царем персидским. Страшно был горд и тем, что он статский советник, переводя по-французски себя в государственные советники, и еще более тем, что кругом были бесчинные — «пожалуй, что мещане, а то поповичи!» Про Чехова и меня он говорил кому-то: «Я, знаете, по человечеству никем не гнушаюсь. За табльдотом формуляром не интересуешься!» Второй, совсем уж шут гороховый, явился из Варшавы и с первой же встречи огорошил Чехова. За общим столом он оказался рядом. Я передаю точно все

это — хоть порою оно сбивает на анекдот.

— Извините, я, может быть, неприятен вам, — шепотом обратился он к А. П. Чехову.

— Почему?

— По роду своих занятий.

Бледный. Усы еще не пробиваются, глаза испуганные, наивные. Весь в веснушках. Губы по-детски пухлые… Из чудом выживших недоносков.

— А вы кто же будете? Какие у вас занятия?.. — Вижу, Чехов серьезен, а в глазах у него загораются веселые искорки.

— Я… извините… шпион.

— Что?

— Шпион.

И он целомудренно потупился.

— Почему?.. Что такое?..

Никто из нас ничего понять не мог.

— Так точно. Потому что гимназию окончить не мог. Ну, а генерал Пузыревский, он знаменитый генерал, мою мамашу очень уважал. У меня мамаша почтенная. Она пансион получает и папашу с военной музыкой хоронила.

Час от часу не легче.

— А генерал причем?

— А он как будто благодетель… Хотите, говорит, я устрою вашего мальчика в секретное отделение. Мамаша спрашивает: «А двадцатого числа жалованье за это полагается?» — «Не только двадцатого, но и так поштучно награждают». И вот, извините, устроил… «Мы ему жалованье, и как он у вас слабенький, так для легкого воздуха будем его заграницу на казенный счет в командировку посылать». И, извините, послал.

— Слушайте же, — серьезно добивается Чехов, а у самого глаза еще пуще смеются: — так вы и на меня при случае донесете.

— Помилуйте! Как же это можно, извините! Чтобы я посмел! Я вас читал. У нас на службе знаменитых людей уважают. На домах даже мраморные доски: «Здесь умер такой-то». Что вы! Да как это… Мне даже страшно слушать от вас такое. Извините!

— Да ведь вы, слушайте же, должны доносить?

— Уж как полагается.

— О чем?

— Вообще… извините. Вот…

Уставился тупо в угол, и совершенно неожиданно:

— О направлении умов…

— То есть как же это?

— Мы должны все слушать и соображать. У нас, извините, служба тонкая. Ее понять надо. Мамаша меня при его

высокопревосходительстве на колени поставила и маткой-бозкой ченстоховской благословила. У меня ассигновка была для оправдательного документа. В нашем, извините, управлении даже есть действительный статский советник, и у него в петличке и на шее всякая кавалерия.

Очень меня занял этот «извините, шпион».

Чехов это заметил.

— Слушайте же… Василий Иванович. Вы мне его уступите! Я его во весь рост написать хочу.

Смаковал он его, смаковал, и все-таки бросил. А тип попался благодарный.

— Вы знаете, чем он меня утешил?

— Кто?

— «Извините, шпион-с!» «Я, говорит, маленький человек, а сейчас на одну линию с вами попал». — «Например?» — спрашиваю. — «А как же! Вы были на Сахалине в казенной командировке, а я на такой же здесь… Для пользы службы». — «Помните один из анекдотов Якоби о концертировавшем Николае Рубинштейне и господине, ехавшем в одном с ним вагоне на Нижегородскую ярмарку: Ну, как наши с вами дела пойдут?»

И расхохотался.

Смеялся он редко, но когда смеялся, всем становилось весело, точно луч в потемках.

— Сейчас у меня с ним опять разговор был. Спрашиваю его: «Слушайте же, ну что заставило вас идти на такую должность?»

— А что?

— Да ведь поганая она?

— Извините. Как же поганая, когда мне даже Станислава в петличку могут дать за отличие? Должность хорошая. Каждое двадцатое число пришел и получил. Чистая служба. Об нас даже в романах пишут. Потом, извините, нас все боятся, а мы никого.

— Но ведь иногда и бьют.

— Разумеется, извините, это неприятно и… больно. Но, во-первых, не надо попадаться. А потом гимнастика! Нас, говорят, будут обучать с гирями. На случай чего, не дай Бог, извините! Я на эту гимнастику очень надеюсь. Она выручит. У нас есть… — И он назвал какую-то фамилию.

— Тоже шпион?

— Извините, да-с. Но он уже на днях статским советником будет. Ему даже его высокопревосходительство руку подает. Ну так он хорошо эту гимнастику знает. От трех один отбился. Он у нас как бы героем считается. Он большой, черный, как калмык, волосатый, и его все боятся. Мне так рассказывали, что его взгляд редко кто выдержать может. Только я его не одобряю-с. Извините,

он иногда и пытает даже. А уж это не благородно…

Может быть, я ошибался, но мне казалось, что у А. П. Чехова была особая манера творчества от малого к большому. Прежде чем писать, он пробовал остроумное сравнение, веселый рассказ или его эпизод на собеседнике. Как будто невзначай вставит и смотрит: какое производит он впечатление? После встречаешь уже в печати знакомую подробность. Угадывал он это впечатление удивительно. Сидит, заложивши ногу за ногу, смотрит через ваши головы куда-то далеко и видит и замечает все кругом. Потом у него вырвется несколько слов, по которым ясно, что мимо его наблюдательного аппарата ничто не прошло, не оставив следа на этом чутком негативе. Каждая беседа с ним мимоходом, наскоро — вносила свою черточку, что-то оставляла в душе. Западет, бывало, чеховская фраза, вспомнишь ее после и любуешься. Я забыл уже, у кого это было. Заговорили о малороссах и наших. Спорили много, Антон Павлович будто и не слушал даже, а потом вдруг:

— Знаете… На Сахалине раз посетил я острог. Спрашиваю у хохла: «За что ты здесь?» И он плаксиво, по-бабьи: «За напрасно, то есть вот как Бог на небе. Ничего же уж я не сделал, страдаю невинно! По чужому оговору». Слезы в голосе, а сам весь скис и осел. А рядом русский. И к нему я с тем же: «Ты как сюда попал?» Тот, не опуская глаз, смотрит на меня, даже, если хотите, вызывающе: «Известно как. За хорошие дела сюда не посылают».

— Да, может быть, первый и в самом деле не виноват.

— И я было подумал. Справился: двух прирезал и на третьем попался.

Была в его характере одна комическая черточка: терпеть не мог похвал его таланту и художественным произведениям и в то же время близко к сердцу принимал сомнение в своих врачебных достоинствах. Зашел ко мне в Петербурге. Жил я тогда в гостинице Англия, на Исаакиевской площади. В этот день чувствовал себя неважно. Целую ночь кололо сердце, были перебои. Говорю ему. Послушал он мой пульс.

— Ниточка дрожит. У вас пульс клубного игрока, хоть по ночам тот за картами, а вы за письменным столом. Лестницу перемените, нельзя вам высоко жить. Я бы на вашем месте думал: на какой ступеньке хлопнусь?

Я засмеялся.

И он вдруг обидчиво.

— Да вы, что же, не верите мне? Плохой я врач, по-вашему?

— Как сказать? Только нельзя быть одинаково крупным и в литературе, и в медицине. Чехов-писатель, разумеется, заслоняет Чехова-доктора.

Потемнел, и потом долго спустя, капризно:

— Слушайте же. Когда-нибудь убедятся, что я, ей-Богу, хороший медик.

Как-то заболела моя знакомая. Рассказываю ему…

— А вы бы посоветовали ей, чтобы меня позвала. Да, впрочем, вы меня считаете скверным доктором. Слушайте же, это черт знает что. Я пять лет учился даром, что ли?..

Мне было ясно, что он искренно огорчен.

Как-то задела меня заметка газетного рецензента, усомнившегося, был ли я в Испании. Очевидно, по невежеству он считал Испанию такой далекой страной, в которую «русскому писателю никак не попасть». Да и очень неправдоподобными показались ему тамошние нравы. Встречаю А. П., рассказываю ему, не без чувства обиды.

— А где он живет?

— Кажется, на Гороховой.

— Слушайте же. На Гороховой ведь этого нет, потому он и не верит. Помилуйте, ведь и у него глаза есть. По тротуару в редакцию ходит, — видит: где они, эти самые тореро? Нет их! В Зоологический сад ездит — нет там пальм. И вы тоже. Желудок у него хоть проспиртованный, но слабый, а вы ему столько этой шпанской мушки насыпали. Ну, он и не выдержал. Войдите же и вы в его положение. Свет-то у него весь с куриный нос, а вы вон какие горизонты раздвигаете. Вы думаете, мне не приходилось встречать таких? Хоть бы вчера, один по поводу моего двоеженца: «Это неестественно», — а у самого нос круглый, глупый и глаза, знаете, веселые, как у сытых свинок. Другой даже в печати: никогда Чехов сумасшедшим не был, а сумасшедших изображает, как они чувствуют, что им кажется. Я и на него не сержусь. Еще бы, ничего такого в «Альпийской Розе» нет, а он ведь дальше «Альпийской розы» не бывал. С Сивцева вражка в «Альпийскую розу», по пути в редакцию, за авансом. Вот и все шесть частей света.

Я заношу все эти мелочи в свои беспорядочные воспоминания об Антоне Павловиче, потому что у таких, как он, каждая фраза, строка письма, носит на себе отражение его самого. Эти крупицы — как жемчужная россыпь, ее надо собирать, не пропуская ни одного зерна. Солнце его таланта горело, как в росинках, в кажущихся незначительными встречах, случайно оброненных фразах, мимоходом брошенных сравнениях. Хотя, принимаясь писать, он — не на первых порах, а впоследствии — и свой смех, и шутку облекал в трагические краски. Точно ожидание близкой смерти бросало свою траурную тень, как громадное черное крыло, на этого часто по-детски веселого человека. Мне мой брат

Владимир — создатель Московского художественного театра — рассказывал:

— Чехов все грозился: «Слушайте же… Я, ей-Богу, напишу фарс»… Или: «Ужасно тянет меня на фарс… Вот увидите… В следующий раз приеду в Москву и привезу фарс… да еще какой! Вся публика хохотать будет». Написал, приехал и привез… «Вишневый сад».

Повторяю, Антон Павлович любил шутку и понимал ее.

Если бы не вечная забота о своем здоровье — этот живописец потемок и хмурых людей был бы одним из самых жизнерадостных наших товарищей. Я помню, в той же Ницце, «Пробирная палатка» (культяпка тож) надоела нам всем до одури. Мы не знали, куда от нее деваться: двуногая пошлость совалась под нос всюду. Одно только нас утешало: это его духовное сходство с Кузьмой Прутковым. В этом авторе бессмертных афоризмов братья Жемчужниковы угадали культяпку. К ниццской аристократии того времени принадлежала семья Арнольди, богатых людей, у которых на четвергах бывал весь fine fleur [20] этого интернационального гнезда. Тут мешались в одну пестрядь и великие князья, и прелаты, и французская знать, и американские выскочки-миллиардеры, и выдающиеся писатели, художники. Рядом с таким популярным ученым, как профессор Макс. Макс. Ковалевский, протискивался нашумевший о себе прощелыга с громким, заимствованным у предков именем, английская леди и нью-йоркская прачка, вышедшая замуж за свиновода из Чикаго. Президент республики, посещая это райское поморье южной Франции, не забывал хоть на четверть часа показаться на five-o-clock tea [21] у «Василисы». Мы звали так хозяйку великолепной виллы Арнольди, написавшую и издавшую в Париже под этим заголовком на французском языке недурный роман из модной тогда русской жизни. Милая семья соотечественников отличалась этим маленьким недостатком. Все мало-мальски заметное должно было непременно украсить салон «Василисы».

Супруги Арнольди считали себя несчастными, если кто-нибудь избегал этой общеобязательной повинности.

Василиса в таком случае отряжала непременно мужа на охоту за редким экземпляром, появившимся в местной светской фауне, и тот не успокаивался, пока не подавал его — на ближайшем четверге, под надлежащим гарниром.

Парижские знаменитости в таких случаях являлись столь ослепительными павлинами, что рядом с ними совершенно терялись скромные птицы нашего отечественного курятника. Я помню, каким маленьким казался тут Алексей Николаевич Плещеев, бок о бок с необычайно встопорщившимся и всех

обдававшим мыльною пеною своего мирового величия Викториеном Сарду. Его только Григорович сумел поставить на свое место удачною шуткой, в которой самомненный французский драматург почувствовал силу не по плечу.

Но это случилось потому, что Григорович — сам сын матери француженки — умел по-тамошнему чудесно пускать пыль в глаза и не позволял наступать себе на ногу никому, кроме… их высочеств!

Разумеется, появление Чехова в Ницце — взволновало маленький муравейник Василисы.

На первом же четверге она прижала меня к стене.

— Это тот самый?

— ?

— Ну, которого переводят теперь французы?

— Да.

— Настоящий?

— Чего настоящее быть не может. 96-й пробы, с ручательством на три года.

— Вы все смеетесь. Почему же его до сих пор здесь нет?

— Он нигде не бывает.

— Да, но у меня все!

По ее мнению, весь мир сосредоточивался в ее салоне, остального не существовало!

— Он, верно, мрачный ипохондрик?

— Слава Богу, нет. Очень веселый и милый человек.

— Тогда я ничего не понимаю… Привезите его ко мне pour faire sa connaissance! [22]

— Не поедет.

— Как же это так? Им заинтересован даже августейший.

— ?

— Михаил Михайлович.

— Да какое дело Чехову до него?

— Значит, он нигилист. Неужели из тех, что с револьверами в карманах ходят?

Я расхохотался.

— Ну, вот видите, сами смеетесь, значит, нет. Так почему же? Черт меня дернул сказать: «Чехов привык, чтобы к нему ездили!»

И старого Арнольди Василиса немедленно командировала вниз в город (их вилла была на горе Montborron) во что бы то ни стало найти, добыть и привезти к ней нашего писателя. А собравшейся на этот четверг публике было объявлено: в следующий — у нас будет наша национальная слава, знаменитый Antoin de Tchekoff, писатель…

— Вроде кого? — заинтересовалась леди Грей, слышая здесь

за esprit fort [23] и знавшая весь Олимп Англии и Франции.

— Вроде… вроде… Мопассана double de votre Thackeray [24].

— Ао!..

Это стало понятно и успокоило всех.

Дать имя — достаточно. Никаких других определений не надо было. Вечером мы с Чеховым до истерики хохотали над этою литературною характеристикой Мопассана, подбитого автором «Пенденниссов».

— Как это тонко! — восхищалась леди Грей… — Только вы можете так в двух словах.

Василиса благосклонно улыбалась, принимая поздравления.

— Где его можно застать на нейтральной почве? — пристал ко мне Арнольди.

— Позовите его к себе. Он когда у вас бывает?

— Больше по ночам.

— По ночам я сплю! — обиделся старик. — Поймите же. Он приезжий. Неловко же мне к нему первому. Есть известные правила.

— Да, но что же с ним поделаешь? Он, вообще, оригинал.

— А, ну это другое дело.

Дать кличку — значит успокоить все сомнения.

Оригиналу, раз я признан таким, можно то, чего никому другому нельзя. И в то же время у оригинала все признается особенным. Даже если он вынет носовой платок, высморкается в него и положит обратно.

И Арнольди подъехал в «одно прекраснее утро», в своем великолепном ландо с еще более великолепным ливрейным лакеем, к нашему скромному пансиону и, не застав ни Чехова, ни меня, оставил нам карточки.

Старая лиса нашлась pour sauver les apparences [25]. Он же был у своего старого знакомого, у меня, и, мимоходом, кстати, оставил карточку и Чехову.

Вернувшись, мы нашли у себя обе карточки.

Чехова даже перекосило.

— Слушайте же… Не хочу я знакомиться с ними, чтобы Василиса меня под разными соусами подавала знатным обоего пола персонам.

— Не избежите…

— А вон увидим.

В этот день мы особенно были злы на пробирную палатку. Надоел он нам до отчаяния. Вздумал читать свои сочинения о пробирной палатке и давал Чехову тему для рассказа.

Сошли к портье.

— Это карточка не ко мне.

— Excusez [26], в ландо… С ливрейным лакеем. Un vieux monsieur tres chique! [27]

— Знаю, знаю: et bien propre! [28]

— Voila! [29]

— Это не ко мне. Может быть, к знаменитому государственному советнику (conseilleur d'Etat), почем я знаю… Им все гранддюки [30] интересуются.

Француз сделал благоговейное лицо: il n'y a que les russes! [31] и, точно боясь обжечься, взял карточку Арнольди. Мы потом только узнали, что он, ничего не сумняшеся, опустил ее в ящичек культяпкин. Лохматая коряга, щеголявшая в куцем пиджаке (я ведь здесь инкогнито — намек на вицмундир), с точным на бортах и лацканах меню всего съеденного за неделю, изумилась.

— Это что за Арнольди? С какой стати он оказывает мне знаки почтения?

— Как же вы не знаете? Там постоянно бывают великие князья… Он и к вам, как к высокопоставленному.

— У него президенты и днюют и ночуют, — вставил невинно Антон Павлович: — ведь вот какой: мне он, небось, не сделал визита… Слушайте же — ну, прочел ваше имя в «Petit Nicois» parmi Ies etrangers celebres [32] и поспешил.

— В ландо и с ливрейным лакеем.

— Да!.. Ну, я теперь понимаю. А то как хотите, странно!

— Ведь не каждый же день государственные советники в Ниццу попадают.

— Поезжайте к нему непременно в четверг, часа в четыре.

— Пожалуй… Знаете, все-таки это с его стороны любезно.

— Ну, и великим князьям будет приятно узнать: есть-де в Ницце шеф пробирной палатки, имярек. И царю в Питер напишут: «Видели-де здесь такого-то». Приятно быть, черт возьми, сановником.

— Ну, уж вы… — разнеживалась культяпка, не замечая гоголевских цитат.

— Смотришь, приглашение ко двору на малые вечера…

— А оттуда и в министры рукой подать. А из министров в графское Российской Империи достоинство!

Пробирная палатка вздулась, как гуттаперчевый шар, и, уходя, подала нам с Чеховым — два пальца.

Можете себе представить, какое впечатление культяпка произвел в роковой четверг на fine fleur [33] европейской колонии у Арнольди с герцогинею Соммерсет, леди Грей, Вандербильтом и велик, кн. Владимиром Александровичем. При появлении в дверях этого ощетинившегося сапога из пробирной палатки сначала все онемели, особенно, когда, хорошо наставленный

нами, он начал подходить поочередно к рукам всех дам. Как в первых домах.

На другой день пробирная палатка явилась к табльдоту мрачнее ночи.

Весь дыбом. Дикобраз дикобразом. С какой стороны ни подступи — наколешься.

— Ну что, пили чай с великим князем? — завистливо спрашивает Чехов.

— Нда… — неопределенно промычал государственный советник. — Чай!

— Правда, гостеприимный дом?

Пробирная палатка только засопела, как тюлень из воды.

Через день встречаю на Promenade des Anglais Арнольди.

— Ну, знаете, и хамы завелись в Ницце.

— А что?

— Можете себе представить. В четверг у нас. Является какое-то неряшливое чудо костромских лесов… днем во фраке и ордена! И первым делом с левого фланга всем дамам не представленные руки целует. Жена (Василиса) чуть не в обмороке. Вошла горничная Франсуаз — он и ей чмок. Я его поймал за жабры и к себе в кабинет, а оттуда другим ходом выпроводил. Его Высочество, слава Богу, нашел это забавным и поэтому мы долго смеялись потом… Я вас спрашиваю, что это такое? А ваш Чехов так у меня и не был!

И потом уже я слышал установившееся о нем в этих кругах Ниццы:

— Да, это большой талант, почти гений, но как человек, он tres mal eleve! [34]

Сидим мы на набережной в Ялте.

Совсем индиговое море у наших ног. Чмокается в деревянные пристани, чуть покачивая замершие у берега лодчонки. Кипарисы, вытянувшись в струнку, млеют в солнечном тепле и свете. Дали чистые, прозрачные, в их лазури рая мерещутся.

Мимо одна из местных литературных девиц (на этом типе я остановлюсь когда-нибудь!) и еще издали расстреливает глазами Антона Павловича.

— Еще одна ваша победа, — простодушно замечает он.

— Слушайте! Вы это что же? За пробирную палатку меня принимаете?

— Нет… я ведь видел.

Я его поднял на смех.

— Жаль, Нефедова нет.

— А что?

— Он бы поверил, сдвинул бы кудлатый парик набекрень и

побежал бы за этой пучеглазой трясогузкой… тоже и Мачтет для этого хорош.

Дача его только что была отстроена.

Ее все видели на рисунках. Где только после смерти А. П. не было снимков! Даже «Illustration» дала «Villa de Tchekoff» en Crimee [35]. Она мне не нравилась. В этом солнечном краю в ней было слишком мало солнца. Точно она заслонялась от него или повернулась к нему спиною. Большой кабинет даже весь в потемках. Чехов остался и в этом верен себе. Отгораживался от всего яркого, слепящего. Мне казалось, что на радостном юге, пышном и пестром, он хотел создать себе уголок любимого им севера. Как я припоминаю (давно ведь это было!), громадное окно этой рабочей комнаты писателя казалось тусклым.

— Экая прелесть кругом! — как-то заметил я. — Ну чего вам недостает в Крыму?

— Снежку бы. Да саночки. Поднял воротник шубы, засучил рукава — вожжи натянул и айда! Мужика бы нашего сюда.

— Сколько угодно их кругом!

— Это не то. Это все полтинники в сапогах бегают, да легкой наживы ищут… Уж на что эти долбоносы-дятлы, здешние греки, и те лучше.

— А татары?

— Татарин святой человек у себя в горном ауле. Ну, а как в руки московской купчихи попадет, так прямо ему камень на шею и в воду. Тут у меня приятель был Мурадка. Чудесный мальчик! А как ***купила ему штаны, куртку и шапку с позументом — сейчас ему хоть желтый билет вместо паспорта… Из-за них мне и Ялта опротивела. Случись мне теперь покупать землю и строиться, ни за что бы в этом лупанаре не бросил якоря!..

Он, впрочем, скоро купил небольшой участок в Гурзуфе. Но ему не удалось, насколько я припомню, поставить там простенького дома, о котором он так мечтал.

Средства к нему пришли тогда, когда он уже был обречен. Смерть протянула над ним властную руку; как доктор, он хорошо понимал это, а как человек большого и исключительного самооценивающего ума, знал, что его творчество еще не достигло своего высшего расцвета. Перечитывая его произведения, видишь, как ступенька за ступенькой он подымался по лестнице неизменно и неотступно и остановился, не дойдя даже до середины. Я думаю, неизбежность раннего конца была великою мукою его последних лет. Он продал А. Ф. Марксу свои сочинения за семьдесят пять тысяч рублей, причем издатель за каждую новую книгу платил ему опять, и по гораздо большему расчету. Гонорар со своих пьес он получал сам. Семьдесят пять

тысяч потом были почти ничто, тогда они являлись крупною цифрой. Товарищи ему завидовали и, разумеется, молва значительно преувеличила эту сумму. Преувеличила настолько, что на Чехова стала закидывать удочки всякая предприимчивая мразь.

— Слушайте же, — жаловался он в Петербурге. — Они ведь меня миллионером считают. Я их буду посылать к Немировичу.

Я уже жил на углу Невского и Малой Морской (ныне улицы Гоголя) в номерах баронессы Риттергольм. Комнаты были чудесно отделаны. Случайно я попал в те, которые в последний приезд сюда занимал И. С. Тургенев, что, разумеется, подало повод злым языкам сквернословить на мой счет.

— Стоило умереть Тургеневу, и Григорович сейчас отделал под него свою шевелюру, а Немирович поселился в его номерах.

Точно в этих до меня не жили всевозможные милостивые государи и госпожи, хотя и принадлежащие к легкому чтению, но все-таки ничего общего с литературою не имеющие.

Через день после шутливой угрозы Чехова ко мне постучался сюда необыкновенно корректный, на все пуговицы застегнутый, сюртук с какою-то ленточкою в петличке и моноклем в глазу.

Это — в десять утра!

— Антон Павлович, принимающий участие в моем затруднительном положении, посоветовал мне обратиться к вашему просвещенному содействию… тем более, что я так восхищался вашими прекрасными произведениями: «В пороховом дыму» и «Los novios» [36].

— «В пороховом дыму» написано Н. Н. Каразиным, а «Los novios» — графом Салиасом, — поправил я его: — но это все равно. В чем дело?

Монокль только поперхнулся, но не смутился.

— Скажите!.. Как это я мог смешать! Мне, видите ли, нужно на первый раз триста тысяч…

— Неужели только!

Я величественно развалился в кресле…

— Отчего не больше? Стоит ли о такой мелочи!

— Да… говорю: «на первый раз». За это лицо, которое бы пожелало вступить со мною в компанию, не далее, как в три года, получит миллион. Не больше, не меньше. Ровно миллион!

И он поднял передо мною указующий перст с таким твердым ногтем, что, кажется, не было на свете живья, которое бы не растерзал он.

— Позвольте пожать вашу руку. О благодарю, благодарю!

— Помилуйте не стоит, мы можем платить столько, потому что дело пахнет миллиардами.

— Я, знаете, никогда не нюхал миллиардов и совсем не знаю их запаха, но позвольте узнать, на какое дело вам нужны эти деньги.

— На соединение морей Черного с Каспийским. Мы убьем Англию…

— За что ж ее убивать?

— Она стоит на нашем пути к востоку… Весь восток будет наш.

— И только триста тысяч!

— Да, представьте, только… На разведки и предварительные расходы. А потом золото рекой польется в наши с вами карманы.

— Я, признаюсь, никогда еще таких рек не видал. Должно быть, очень красиво. Да и карман для такой реки надо особенный заказать, иначе прольется даром. Сколько же вам ассигнует Антон Павлович?

— Он мне сказал: столько же, сколько и вы. Если по полутораста, выйдет ровно триста!

— Счет верен… Но у меня сейчас и полутораста рублей нет.

Он даже ладонь к уху надставил: не ослышался ли?

— Как вы изволили сказать?

Я повторил.

— Нет полутораста, не рублей, а тысяч? Так, может быть, мы удовлетворимся меньшей суммой, только нам придется искать третьего компаньона. И, разумеется, делить этот миллион на несколько долей.

Мне эта комедия надоела. Я решил ее оборвать разом.

— Мне некогда, вы меня простите. Будем говорить серьезно. Вы совершенно напрасно обращаетесь с этим к русским писателям. Все мы настоящие пролетарии. Живем работою и только работою, которая оплачивается очень скупо, а часто и вовсе не оплачивается. Я, например, вам и полутораста копеек не дам. Мы ведь тоже помогаем своим. А вот посоветовать вам могу: не беспокойте вы Чехова, он человек больной, и ему это очень, вредно.

— Право, — говорил мне потом Антон Павлович, — надо завести секретаря писать ответы. Слушайте же, ведь это невозможно. Все денег просят. Какие-то чиновники, дамы…

— Пошлите их к черту.

— Да ведь и эти три слова надо писать, не считая адреса.

— Охота вам отвечать!

— А вы сами? Какая-то девица на приданое требует — и вы ей на трех страницах. Или вдова — на перевоз праха схороненного здесь мужа к месту ее новой службы, а вы сейчас подробно: насколько ее желание неисполнимо. Нет, в этом мы все

одним миром мазаны.

Он по отношению к обращавшимся к нему анонимам и просто знакомым был удивительно деликатен. Я помню, как он изводился за границей, составляя письма по-французски и по-немецки (плохо знал языки) к разным переводчикам, библиографам, издателям и просто праздным любителям, интересовавшимся русскою литературою, вообще, и им, в особенности.

— Слушайте же, нельзя не отвечать. Мне Суворин говорил, что я это для популярности, а я о ней и не думаю. По горло сыт — благодарю! Как же бросить письмо в корзинку, да еще с маркой, приложенной на ответ? Ведь это все равно, что не приподнять шляпу на поклон или не пожать протянутую вам руку. Свинство, ведь?

Ему едва удавалось отбиться от самозванцев-актеров.

В Петербурге завелся такой промысел: бритые молодые люди осаждали писателей, имевших какое-либо отношение к сцене. Мне приходилось таким образом отплачиваться, как брату своего брата Владимира — создателя и руководителя Художественного театра. Чехову — как автору великолепных пьес. С раннего утра надо было ожидать паломничества, и, должно быть, оно было организовано очень правильно. Роли распределялись между этими бездельниками в полном порядке. Сегодня один, завтра другой. А потом очередь дам, якобы принадлежащих к театральному миру и застрявших здесь без ангажемента. И те, и другие в совершенстве обладали способностью выбрасывать в минуту тысячу слов. Такой скороговорки я не слышал и в пулеметном бою. Она вас оглушала, лишая всякой способности соображать и думать вообще. Начиналось это перечислением городов и трупп, потом шли пьесы, причем для большей убедительности называлась не только фамилия автора, но и его имя и отчество и адрес. Если у него была жена, ссылались и на обворожительную Анну Кондратьевну. Вам не давали вставить ни одного слова. Очевидно, все это было заучено наизусть и выпаливалось, как зубрилами на уроке, без знаков препинания. Дамы при этом закатывали глаза и обнаруживали готовность здесь же у вас изобразить такую истерику, что весь дом мог бы сбежаться на ее пронзительные вопли. Надо отдать справедливость — дело было основано на весьма правильных заключениях: и бритые молодые люди, и вопленицы никогда не просили более двадцати пяти рублей, причем соглашались принять и красненькую бумажку. Одно, что ставило героинь провинциальных подмостков в затруднение, — это просьба написать свой адрес. Увы, многие из них были совершенно

безграмотны. Когда Чехов останавливался у Суворина, к нему не пускали эту орду, в отелях — другое дело. Осада писателя начиналась с утра…

Я говорил уже о продаже Чеховым своих сочинений А. Ф. Марксу. В свое время очень много сплетничали об этом литературные фарисеи; нашли, что Маркс чуть ли не ограбил Чехова. Антону Павловичу надо было обеспечить себе существование, особенно ввиду его болезни. Никто, я подчеркиваю это, не давал ему и половины того, что ему предложил издатель «Нивы». Суворин, принимавший такое участие в делах Антона Павловича и, надо отдать справедливость Алексею Сергеевичу, сделавший много и много для того, чтобы поставить Антошу Чехонте на ноги, — когда ему предложили купить сочинения этого писателя, отказался уплатить ему сумму, предложенную Марксом. Маркс тогда уже начал страдать болезнью сердца, и травля, поднятая на него в газетах (мы ведь всегда великодушны за чужой счет!), значительно ускорила смерть его. Сверх семидесяти пяти тысяч он, когда обозначился успех полного собрания Чехова, никем — и прежде всего самим автором — не побуждаемый, уплатил ему еще двадцать тысяч плюс сумму, следовавшую Антону Павловичу за новые его сочинения. Я встречал Маркса в это время. На нем лица не было. Он очень дорожил репутацией издателя, впервые на небывалую высоту поднявшего литературные гонорары и послужившего, вообще, чужому ему народу. Ни один министр народного просвещения в России не сделал столько для распространения в народе истинно прекрасных произведений русской словесности, сколько Маркс. Этот пришлый немец, составивший у нас большое состояние, с лихвою отблагодарил обогатившую его страну. Поддерживаемый Ю. О. Грюнбергом, управлявшим его конторою, он смело выбросил миллионами экземпляров, по неимоверно дешевой цене, в читающую массу, на погосты, в волости, в уездные города и жалкие местечки, не только старых классиков, но и современных ему лучших русских писателей. До него были невозможны такие издания, как 100 000 экземпляров Достоевского, 250 000 Тургенева, Гончарова, Салтыкова. Если расходилось восемь, девять тысяч какого-нибудь из популярных авторов, это уже считалось небывалым успехом. За каких-нибудь шесть рублей подписчик «Нивы» получал не только журнал с отличным подбором беллетристики, но и, напр., полное собрание Достоевского. Возвращение полуинтеллигентной массы, после Маркса, к старой площадной литературе — было уже немыслимо. Подчеркиваю и повторяю: простой берлинский мещанин, явившийся к нам вторым приказчиком в иностранное отделение

книжного магазина М. О. Вольфа, — разумеется, оставил в нашем народном просвещении более глубокий след, чем все не только отрицательные министры этого ведомства, вроде Толстого и Делянова, но и лучшие из них.

Разумеется, Маркс взял большой барыш на издании Чехова — но ведь раньше и после него не нашлось никого, кто бы Антону Павловичу предложил то, что дал Маркс. А потом, когда растерявшийся от нападок издатель «Нивы» соглашался разорвать с Чеховым контракт — никто из других бескорыстных благожелателей книжного рынка не пошел на эту, по их же словам, выгодную сделку, все они бросились в кусты, а А. Ф. Маркс слег окончательно, оклеветанный, и больше всего — писательскою братией, которая до него и не мечтала о гонорарах, которые он начал ей платить. Говорю все это с полным правом, так как он меня не издавал, а за печатавшееся в «Ниве» платил мне минимально. Лично я ему ничем обязан не был, и в данном вопросе мною руководит не чувство благодарности, а только справедливость.

Последний раз жизнерадостным я встретил Чехова у П. П. Гнедича.

Гостеприимная хозяйка Евгения Андреевна собирала у себя и писателей, и артистов. Я не помню вечеров проще, милее и содержательнее. На них так легко, хорошо и искренно говорилось и чувствовалось. Тон безобидной шутки и большого литературного вкуса заставлял многих добиваться приглашения сюда, и не знаю, был ли в те времена, кажущиеся теперь такими далекими, хоть один художник, выдающийся актер или беллетрист, который не побывал бы в этой скромной гостиной. Кажется, в день, о котором я вспоминаю, здесь были Антон Павлович Чехов, Влад. Алексеевич Тихонов, С. И. Соломко, только что вернувшийся из Индии убежденным буддистом, Вас. Пант. Далматов и красавицы дочери писательницы Желиховской — Надежда, потом вышедшая замуж за славного генерала Брусилова, командовавшего галицийскйм фронтом, и Елена. Тогда засиживались долго. Приезжали пить чай после театра и расходились, когда уже светало. Улицы по ночам были безопасны, никто у вас не спрашивал паспорта и не кидался из-за угла снимать с вас на морозе шубу и сапоги. Извозчики тоже еще не стали Вандербильтами и Морганами и не грабили вас, как грабят теперь. Я помню, как в этот вечер Соломко читал буддийские молитвы, из которых мы уловили первые строки: «Будда-будда-брысь» — кличка, которая за ним так и осталась. Далматов впал в горделивый транс и горячо доказывал, что князья Лучичи (его фамилия, только без неизвестно откуда прилепившегося к ней

титула) имеют право на далматинскую корону, «а может быть, и хорватскую», и при этом принимал вид такого неистового величия, что Чехов рекомендовал ему поступить в качестве натурщика в мастерскую надгробных памятников монументных дел мастера Кузьмы Стоеросова на Швивой площадке в Москве. Влад. Алекс. Тихонов был мрачен и, впав в покаянное настроение, объявил неизменное решение ехать к заутрене в Исаакиевский собор.

— Грешники мы… Пьяницы… Блудники… — лопотал он всю дорогу туда.

Красное вино у Гнедича было превосходное и страшно подняло в Тихонове ужас перед бездною его нравственного падения.

— Нет нам прощения!

— Отчего же, — протестовал Далматов. — А я надеюсь. Вот например, Ной, на что уже безобразничал, последние штаны пропил, а все-таки попал в святые. А Лот… Обрадовался, что жена в соляной столб обратилась и сейчас же с собственными дочерьми. Да еще как с пьяных глаз тоже…

— Не ври, Вася. Соляной столб был потом…

— А все-таки ради него Господь чуть Содом не помиловал. Вот какие были праведники!

— Неужели праведники?

— А то как же! Надейся!

— Не верю. Не может этого быть. Впрочем, в Ветхом Завете чего не было!

— Вспомни Давида! Надейся, Володя.

— Боже мой, Боже мой! Весь я в грехе, весь по уши в грязи.

— У тебя дома ванна есть.

— Нет, я по субботам в баню.

— Ну так вот. Авось до субботы не умрешь. На тот свет чистым попадешь. Точно на бал.

Я простился с ними у Исаакиевского собора и пошел к себе. Жил я тогда в Hotel d'Angleterre, напротив. Потом уже В. П. Далматов очень картинно рассказывал, что происходило за ранними обеднями в это утро. Сцены, переданные им, совершенно не сходятся с «Воспоминаниями» Вл. Тихонова, напечатанными в «Историческом Вестнике». Где правда — не знаю. Вл. Тихонов этому эпизоду придал мрачный характер покаянного самобичевания, участие в котором не совсем свойственно было тогда еще жизнерадостному, неудержимо веселому и скептическому Чехову. Впоследствии он очень изменился, но в ту пору А. П. умел и любил посмяться и всех заражать комизмом создаваемых им положений. Думаю, что сам

великолепный импровизатор В. П. Далматов уже от себя прибавил хождение по церквам после Благовещенской. Как ни кратко было посещение каждой из них и как ни длинны ранние обедни, едва ли бы эта компания, точно целиком выхваченная из сцен Бомарше, успела все рассказанное проделать, даже если бы к ее услугам были буцефалы Александра Македонского. Привожу все это полностью, потому что уж очень характерна была в них фигура самого рассказчика, тоже крупного лица в истории русской сцены. Надо прибавить еще, что действующие лица иногда собирались у меня, а так как перед тем в Петербурге была холера, то в моем шкапу хранился еще большой запас коньяку, настоянного на калгане. О нем-то и упоминает В. П. Далматов в своем, как мне кажется, анекдотическом сказании.

Весь рассказ этот идет уже от лица В. П. Далматова.

Приехали в Исаакиевский. Сумрак. Трепет огоньков. Чуть мерещатся тусклые ризы. Длинная черная фигура едва выступает из мрака. Читает.

Тихонов бух на колени.

— Пьяницы мы, грешники… Прости меня, непотребного.

Слезы на глазах.

— Никогда! Обет даю. На изнанке иконы напишу: вина отнюдь.

Опомнился.

— Этого вина! Крепкое оно, Господи, выдержанное в погребе у Рауля! Плоть наша немощная.

Чехов рядом серьезно:

— Кстати, Володя, вспомни: у Немировича — от холеры спирт на калгане настоянный остался. Клянись и его никогда! Ишь, как он тебя прошиб.

— И калгана ни под каким видом. Негодяй Василий Иванович: он не меня одного. Он и Кигна (Дедлова) этим калганом свалил. Господи, это уж не на мне, а на нем грех. С него, нераскаянной души, и взыскивай.

Чехов опять суфлирует:

— Плачь, Володя, плачь! Много тебе за твои пьяные слезы простится. Слушайте же, ну если человек обеты даёт этой марки не пить! Как же Богу не обратить на него внимания! В Москве у нас есть водка такая — «Очищенная слеза».

— Свинья я перед тобою, Господи! Ты видишь — свинья.

— Копченая!

— А все-таки я знал, что ты меня любишь…

— Неужели Бог ветчину ест! Опомнись.

— Больше, чем Чехова и Немировича. Зачти мне, Господи, их издевательства надо мною…

Отмолился он, вышли.

— Мало! — решил Чехов. — Слушайте же, неужели чуть поплакал и довольно? Валяй к Благовещению.

— Да, хорошо у Благовещения, — пускал Тихонов слюну на губы. — Очень хорошо у Благовещения… Дьякон там. Двенадцать рюмок поставит в одну шеренгу и сейчас им перекличку. И закусывает только по двенадцатой, да и то — хлебца понюхает. Святой человек.

— Какие у тебя мысли, Тихонов? А еще каяться едешь! Опомнись!

— Бог мне теперь радуется… Больше, чем девяносто девяти праведникам… Праздник я ему устроил, Богу! Немирович будет гореть в геенне неугасимой, а я прохладою райской упьюсь…

— Даже и в раю упиться хочешь… Ах, Володя, Володя!

У Благовещения Тихонов уже не плакал, но усердно бил себя кулаком в богатырскую грудь. «Я старик железный!» — любил говорить он. Действительно, человек был силы необыкновенной. Сам на себя врал: был-де гусаром гродненским, а через полчаса: я крючником на Волге — на пароходе во какие тюки носил. Начнешь разбираться, и понять не можешь, когда он гусаром служил, а когда крючником. Выходило как будто — в одно и то же время.

— Молись, Володя, молись! — поощрял его Чехов.

— Господи! Прости и Немировичу. Вспомни, как он, не предупреждая, угостил меня спиртом на калгане. Чем я тогда виноват был, что немецкого булочника за нос в вас ист дас вытащил? Пусть и Немирович ответит. Из-за него я в участок тогда попал… Хорошо, что к знакомому приставу. Пили мы тогда с ним ликеры. Джинджер! Прости меня, недостойного!

И окончательно распустил губы.

— Нет… Ты многомилостив. Ты и Немировича простишь… У него в шкапу всегда хорошая мадера есть…

— Мало! — мрачно чудил Чехов. — Всю жизнь, слушайте же, пакостил и думает двумя церквями отделаться. Тоже гусь… Гайда на Сенную.

Продемонстрировал Тихонова у Спаса на Сенной и потом повез его к Владимирской Божьей Матери.

На Сенной наш кающийся был гораздо спокойнее и молился уже за нас.

— Господи, прости их, подлецов. Насмешники они. Негодяи! Нашли, кого по домам Божиим возить.

У Владимирской — уже озлился и начал нас Богу ругать.

— Тебе, Господи, нечего рассказывать. Ты сам сверху отлично видишь, какие они. А еще писатели! Соль земли — подумаешь!

Везде печатаются, а кто их читает! Какие гонорары им платят!

Но под конец — когда мы его хотели в Александро-Невскую лавру возить — остервенел и чуть не с кулаками полез на нас. На обратном пути остановил извозчика.

— Пойду топиться.

— Слушай же, Володя. Ведь ближайшая прорубь далеко. Лучше же завтра со свежими силами. Нельзя же на такое дело, не отдохнув. Сам ты говоришь, что у Немировича в шкапу какая-то особенная мадера есть…

— И херес!

— Ну вот видишь: и херес. Что ж, их так оставлять? Побойся Бога.

— Я доказал, что боюсь: зарок дал.

— Так зарок на красное: понте-кане, выдержанное в погребах…

— Рауля.

— Как видишь. Я свидетель, что о хересе и мадере ни в одной из церквей никаких обетов не произносил.

— Верно?

— Еще ж бы!.. Ну, а завтра я, как доктор, осмотрю тебя. Мы подпишем протокол, что ты в полном разуме и твердой памяти. Надень чистое белье — и ступай топиться. Никто тебе не помешает.

— Никто? Побожись.

— Ах, Володя, а еще только что молился. Забыл: не призывай имени Божьего всуе!

— Тогда клянись гробом своей матери.

— Да она у меня, слава Богу, живая!

— Все равно… Бабушка умерла?

— Да…

— Именем бабушки! У меня бабушка была! Какие наливки делала! Много я потом разных бабушек видел, но таких наливок нигде не пивал.

Чехову принадлежит и знаменитый устный рассказ о белых слонах на Знаменской площади. Действующими лицами в нем являются опять-таки железный старик Влад. Тихонов, Дедлов (Кигн) и уж не помню кто еще. Он настолько известен (кто только над ним не смялся!) — что я не привожу его здесь.

У нас не раз ставили вопрос: что такое Чехов в политическом отношении? Пытались определить эту крупную литературную фигуру как гражданина, и ни к чему не пришли. Сейчас в известной части печати (в Москве) началась даже травля Антона Павловича, как писателя совсем не нужного, для борьбы непригодного, нытика и т. д. Короче, не крупнейший талант,

отметивший собою целую эпоху в нашей словесности, — а отброс и в лучшем случае только легкое чтение для сытых буржуев. И несправедливо, и глупо, как всякая оценка, производимая узкопартийными людьми в шорах, с миросозерцанием короче своего вздернутого ноздрями вверх носа. Но в одном нельзя отказать этим новым судебным приставам печати. Они, действительно, признав Чехова непригодным для своей пропаганды, — стали на верный путь. Он сейчас в этом хаосе, тщетно ожидающем всемогущего «да будет свет!», был бы не нужен. По существу, Антон Павлович и в свое время был врагом всяких насильственных переворотов. Сколько раз в той же Ницце подымался вопрос о неизбежности революции в России. Мы — Ковалевский, я, Джаншиев — горячо отстаивали ее своевременность и необходимость, Чехов, один из убежденнейших сторонников эволюции, с чувством внутренней боли отзывался о возможности переворота, продиктованного злополучным, тупым и невежественным царствованием Ананаса III, как звали тогда императора Александра Александровича за роковую фразу его вступительного манифеста — «а на нас лежит обязанность», — отменявшего всякое поступательное движение вперед и санкционировавшего эпоху «точки». Поклонник эволюции — (помните в «Трех сестрах» у полковника Вершинина?) «этак лет через двести», Чехов в политическом отношении был человек довольно беззаботный и на все партийные программы, вожделения и работы смотрел сверху вниз и настолько сверху, что даже не замечал, есть ли там что внизу или нет. Еще ошибочнее было бы считать его кадетом. Я никак не мог бы представить себе Антона Павловича в Государственной Думе, заседающим под отеческим крылом Милюкова, Винавера и их присных, как бессилен был бы вообразить его сотрудником газеты «Речь», если бы он дожил до созыва нашего парламента. Замысловские и Келеповские в нем вызвали бы брезгливое отвращение, а Репетиловы вроде Керенского — веселый смех. Если хотите, это был скорее анархист-индивидуалист, хотя оригинальный склад его души вывел бы Чехова из каких бы то ни было рамок. Он никак не умещался бы в них и стер бы себе до крови локти и колена в их рожнах, решетках и заставах. Я думаю — художник прежде всего, Чехов как гражданин был неисправимый мечтатель о всеобщем счастье человечества, мечтатель об идиллии вечного мира, благоденствия — опять повторяю, лет через двести, когда нас с вами не будет, а нам лишь бы дожить в тишине и спокойствии. Поэт и мечтатель — он, как только дело касалось лучшего устройства нашей жизни, отходил в сторону, терял все свои драгоценные свойства реалиста

и трезвого наблюдателя. Впрочем, был ли он настоящим реалистом? Ведь в самых его реальных произведениях действительность является обвитою полупризрачными сумерками, скрадывающими резкость и определенность очертаний. И самый смех его — не тот презрительный, оплевывающей маленьких людей ядовитою слюною, оподляющий будничные недостатки серенького мира, а добродушный, снисходительный, в котором каждый почувствует доброжелательного брата, всем своим любвеобильным сердцем прилепившегося к этой изображаемой им яви.

Да, Чехову, разумеется, сейчас не было бы места в печати.

Не потому, что самой печати нет. В громах и ураганах нашего катаклизма никто не услышал бы его голоса.

А может быть, и не захотел бы услышать.

Чехов ведь не умел ни предостерегать, ни вести за собою толпу, ни удерживать ее от стихийных порывов. Он бы остался — в своем темном кабинете, в углу под слабым светом закутанной в зеленый абажур лампы, — рембрандтовской фигурой, одинаково чуждой и подлому насильническому прошлому, и вихрю социалистической мести, творящей сейчас свой, быть может, и жестокий, но вполне заслуженный нами правеж.

Поэт отечественной протоплазмы, любивший Россию такою, как она есть, — он бы не угадал того таинственного будущего, к которому бурно и бешено стремятся ее творческие силы, и не только не угадал, но, пожалуй, и проклял водополье, смывшее все, чем он привык любоваться. Как бы он представил себе Епиходовых, несущих во главе революционных вопленицы красные знамена в багровый мрак, разрываемый мгновенными зигзагами гневных молний!

Не сомневаюсь, что его вера в Россию выдержала бы и такие испытания, через которые наше отечество сейчас проходит. Я помню, как-то у меня собрались случайно Владимир Соловьев, Чехов и еще не помню кто! Это было задолго до Маньчжурской войны, и Соловьев прочел свое известное стихотворение, проникновенно предсказывавшее страшные события на нашем Дальнем Востоке. Они были первым предостережением отечеству, внезапно остановленному в своем движении вперед гибельною эпохою точек. Чехов задумался, потемнел даже. И потом вдруг встал и заговорил горячо, возбужденно, даже, я сказал бы, гневно, совсем не похоже на него и по возбуждению, и по языку:

— Выдержим, и не такое еще выдерживали. Край громадных масштабов. Нельзя его судить и отпевать по событиям сегодняшним. Они пройдут, а Россия останется. Останется! Мы переварили и монгольское иго. Оно только сплотило нас.

Пожалуй, тогда удельные княжества впервые поняли, что они только отдельные члены великого народа. И 1612 г. мы сумели пережить и еще сильнее стали после. Я уж не говорю о 1812-м. Это была ошибка Александра I Германского на русском престоле. И я вижу, что нас ждут великие бедствия. России надо рассчитаться за все свое прошлое. Родовые боли мухи или слона различны. Представьте, в каких гигантских страданиях должна родиться новая Россия в конце XX века. И они неизбежны. Великому народу и гигантские болезни. Только не надо терять веры в свой народ, какой бы он ни был!

Сейчас я вспоминаю эти слова. В самом деле, то, что мы предвидели, пришло на 50 лет раньше, да ведь и события, его вызвавшие, — пятилетняя мировая война — могли взболтать громадный океан России, а бури этого океана нельзя сравнивать с бурей в стакане воды. Ведь с Петра Великого мы не переживали такого страшного перелома. Тогда в преобразованиях венценосного революционера (потому что П. В. был настоящий революционер!) перерождалась новая Россия, а теперь в недрах нашего отечества перерождается весь мир, вся вселенная. Если нам так тяжко — не надо забывать, что императорская власть, со дня освобождения крестьян, более 50 лет — полвека — боролась с народным образованием. В 35 лет выросли из безграмотных болгарских райи грамотные Болгария, Сербия, Греция. И ход нашей революции в просвещенном народе был бы иной. Думаю, и Чехов — с его верою в великую свободную Россию — не поколебался бы в ней и теперь.

Перед Маньчжурской войной я его еще раз встретил за границей.

Он очень поддался. Недуг изменнически, неотступно делал свое…

— Вы все счастливцы… Все, кроме меня.

— Это как? Теперь, когда вас уже не пугает нужда я вы можете работать, когда и как хотите!

— Вы будете жить, когда меня зароют.

Через год я возвращался, утомленный, с Лаоянских позиций.

Только что окончился бой, один из тех, в которых гибла старая Россия, тяжко расплачивавшаяся за свое равнодушное, покорное, тупое рабство. Позади еще глухо ахали крупные орудия. Маньчжурские дали уходили в сизый туман. Едва-едва намечались в нем китайские ольхи с круглыми темными шапками омелы. Под ними, точно ощетинившиеся драконьи хребты, прятались причудливые кровли кумирен.

Навстречу — какой-то незнакомый офицер.

— Слышали?

— Что?

— Чехов умер!

И голос у него дрогнул.

Отвернулся, чтобы не выдать волнения.

Я вдруг почувствовал, как и он: оба мы утратили дорогое, милое, близкое. Я — в последнее время редко встречавшийся с Антоном Павловичем, он — и вовсе с ним не знакомый… Острая боль обиды. Совершилась злая шутка над человечеством. Великая и бессмысленная несправедливость.

Эта коротенькая фраза:

— Чехов умер! — стерла из памяти зрелище только что виденных отчаянных наступлений, упорного боя одних, паники других, тысяч разбросанных по залитой кровью земле продырявленных трупов, перемешанных с грязными лохмотьями и тоже похожих на лохмотья. Погасли стоны раненых, грохот барабана, рев далеких пушек и визгливые стенания разрывавшейся шрапнели.

Все это вдруг показалось неважным — после громадной всемирной утраты:

«Чехов умер».

Диктатор на покое (М. Т. Лорис-Меликов)

Каждому, кто дожил до великой русской революции, таким далеким, странным и чуждым кажутся и время, и люди, о которых я вспоминаю теперь. А они сыграли в нашей истории и даже в том, что творится сейчас, громадную роль. Ведь случайностей нет. События кажутся неожиданными только слепым кротам да деревянным идолам, которых народное движение из министерских дворцов бросило в темничные казематы. Их бездарность и политическое невежество равнялись только их наглости. Все ужасы, переживаемые нашею родиной, могли бы быть предотвращены, если бы эти ташкентцы приготовительного класса хотя немного знали то, что происходило в Западной Европе с Людовика XIV до крушения Наполеона III. Они ничего не видели и не предвидели. Титулованные и сановные шуты гороховые в этом отношении отстали даже от сотрудников и современников Александра II, хотя и этим, говоря правду, была не большая цена на всемирной правительственной бирже. Настоящее царство самоуверенной и варварской никчеми началось с его сына и преемника на прародительском троне, Ананаса III и последнего. Вы помните его знаменитый манифест, отменявший даже канунные призрачные упования: «А на нас лежит обязанность»? Ананас III и последний разогнал всех деятелей предшествовавшего царствования, все-таки кое-что делавших для своей страны и народа. Одного из таких я встречал. «Старый кот на покое», как непочтительно называл его дух тьмы и человеконенавистничества, мрачный инквизитор Победоносцев, был очень словоохотлив и любил делиться своими воспоминаниями.

Некогда «диктатор сердца» граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов медленно умирал тогда в Ницце. Он был выброшен новым курсом за борт вместе с Д. А. Милютиным, замкнувшимся в кипарисовые рощи Симеиза в Крыму. России оказались совсем не нужными люди даже умереннейшего прогрессивного направления. Зловещая фигура бритого Кощея из-за широкой спины ограниченнейшего из монархов грозилась на всех, кому тогда хоть в некоторой степени могла доверять страна. Правда, и Лорис-Меликова и Милютина Ананас III не раз вызывал в Петербург, но им там нечего было делать и они отказывались даже от участия в «совете нечестивых». Ведь какие же компромиссы могли быть у них с Победоносцевым и с

полуграмотными собутыльниками государя!

Я помню встречу у А. Ф. М. с тогдашним временщиком.

Только что царь помиловал кого-то, и веревочная петля на этот раз болталась, осиротевшая, впусте. Победоносцев был раздражен. Его так и поводило всего. Зло и подозрительно он оглядывал всех нас и, казалось, только искал повода высказаться. Такой ему и дал едва ли не покойный Терпигорев:

— Россия устала от виселиц.

Победоносцева так и подняло.

— Неправда, неправда, неправда!

Злобная, ехидная судорога свела его бескровные сухие губы.

— Не велика тяжесть — выдержит. Есть от чего устать — от нескольких повешенных негодяев. России сейчас нужны не виселицы, а настоящий правеж черных сотен. Как при Рюриковичах: любо ли? — и бросай сверху на ножи и топоры. Иоанну Грозному, вот кому пора вернуться! Иоанну Грозному.

Он неслышно, на мягких подошвах, подошел к столу и ударил в него желтым кулачком, похожим на сморщенный гриб.

— Да-с, трижды Иоанну Грозному. Неву трупами запрудить! Брюхами вверх! Не время сентиментальничать… Политическая власть синоду, а в синод — если нет, так выдумать Торквемаду.

— Нечего и выдумывать. Есть готовый! — спокойно проговорил Григорович.

— Принимаю ваш намек, Димитрий Васильевич… Во всей его полноте. Гордился бы, если бы соответствовал идеалу. Великого испанца до сих пор не понимают.

— Чего уж понимать! Когда так говорит бывший прогрессивный профессор уголовного права…

Тертий Филлипов довершил:

— Да ведь, ваше высокопревосходительство, — мягко вставил он, — ведь синод не сам работает, а творит волю пославшего.

Победоносцев запнулся.

Удар пришелся метко.

Сел в кресло… помолчал. И вдруг, точно ужаленный.

— Да-с? Волю-то пославшего вы знаете? Помните, что он повелел Израилю о роде и племени Амалека?.. До последнего младенца… до последнего младенца-с! — сладострастно подчеркивал он.

— За что же мы вешаем собак на Ирода?

— И Ирод. Хороший государь был. Кого Господу-Богу понадобилось спасти — он спас. Послал вывести деву с младенцем в Египет… На осляти-с… На осляти.

Я слушал и ушам не верил. Слишком уж это было откровенно.

— Я вам скажу, Тертий Иванович, вы меня вашей отсебятиной не собьете. Всякий-с в Библии находит свои желуди. Я вот вполне согласен с вел. кн. Владимиром. Он вчера в государственном совете: не миловать надо — а виселицы, виселицы, виселицы! От Александро-Невской Лавры до Адмиралтейства… а то, пожалуй, от Питера до Москвы. Зима-с, гнить не будут — так до весны в назидание современникам. На всех телеграфных столбах… Гроздьями… гроздьями. Висите, голубчики! А публику туда и назад катать бесплатно, по очереди. Зрелище и увеселение. Пусть любуется.

Понятно, что Лорису незачем было ехать сюда. Особенно, когда он в присутствии Ананаса III обернулся к Константину Петровичу и морщась:

— Что это так дымом пахнет?

Победоносцев потянул носом.

— Не нахожу!

— Да вы привыкли. Вам ничего. В святом братстве (Германдада) и не к этому принюхаешься.

— Я знаю, что не остроумно, — сознавался Михаил Тариелович, — рассказывая это, — но Александр III удостоил улыбнуться… «Высочайшею был награжден улыбкой». И ее-то Победоносцев, разумеется, никогда мне не простит. С тех пор он нас всех, живущих за границей, предлагает лишить жалованья, аренд, чуть ли даже не конфисковать нашу землю в России. Меня он называет изгоем и князем Курбским из Армян. Злой клеветник, не останавливающийся ни перед чем. У Александра III была очень хорошая черта: он очень любил очные ставки. Я помню, как-то в первые дни после смерти его отца вхожу в Аничков дворец, и вдруг мне государь: «Граф, за что это вы меня вчера обозвали мраморным геркулесом, пояснив, что истуканам мозгу не полагается? Несколько деликатнее правда, но смысл таков».

— Вчера?

— Да. У великого князя Константина.

— Вашему величеству солгали. Я вчера действительно должен был поехать к его высочеству, но остался дома. У меня был мой обычный приступ ревматизма. Я не выходил из спальной. Разрешите, государь, узнать, кто это оклеветал меня.

Александр III сделал удивленное лицо и обернулся к Победоносцеву.

— Что же вы мне рассказывали, Константин Петрович, будто вы сами видели графа?

— Думал, что видел.

Он весь пошел желтыми пятнами

— Народу было много. Показалось… А слова графа передавались в круглой гостиной.

— Не всякому слуху верь!

И царь расхохотался.

— У Романовых это вообще было очень характерное. Они любили ссорить между собою всех, кто около. Даже железный рыцарь, как его называли, Николай I не гнушался этим. Раз он таким способом поссорил Желтухина с Ростовцевым и сам рассказывал Михаилу Павловичу, как они со злости начали выводить один другого на чистую воду. «Много я узнал тогда любопытного!» — смеялся Николай.

О последних годах Александра Второго Лорис-Меликов говорил мало.

— Мне жаль. Он так много сделал и еще больше хотел сделать для России. Он, как все Романовы, был подозрителен, и этим пользовалась часто придворная камарилья. Ведь она всегда сильнее самодержца. Самодержавие — фикция. Правят государствами не неограниченные монархи, а пронырливые и бессовестные временщики и партии. Не надо трогать его память. На него, сверх того, слишком большое влияние имели женщины. Вы помните, когда великий князь главнокомандующий стоял с победоносною армией «у врат Царьграда». Султан уже приказал готовить себе дворец в Бруссе, а казармы Константинополя очищать для наших войск. И ведь не дали России этого удовлетворения за все пережитые боевые невзгоды! Александр II упорно повторял одно и то же: «Я дал королеве Виктории слово не входить в Византию!» Ведь не шесть же маленьких английских крейсеров испугали нас тогда! Государь по какому-то случаю чувствовал себя виновным перед нею и расплачивался Россией… Вотчинный порядок. Государь освободил крепостных, но сам остался помещиком своей империи…

— Да, женщины имели на Романовых громадное влияние. Исключением была только Дагмара. На Александра III Черевин — уж, кажется, пьяный и глупый человек, — а умел действовать, как никто. Победоносцева царь втайне очень не любил, но поддавался его сухой, непреклонной воле. А Марье Федоровне стоило вмешаться, чтобы испортить все. Его отец — иное дело. Возьмите, например, его вторую жену. Я говорю о Юрьевской. Мы никогда не понимали ее власти над ним. Он, которого коробило все угловатое (настоящий Петроний на троне!), грубое, не замечал, до какой степени она была вульгарна. Даже в мелочах. Ей ничего не значило на интимных вечерах класть вам сахар в стаканы пальцами или ими же брать остывший картофель с блюда. Я старый солдат. Мне ничего, ну, а других поводило от этого. Как-

то при ней рассказывали об арабском обычае: шейх, оказывая особый почет гостю, берет руками с блюда горсть жирного рису и деликатно предлагает ему открыть рот. Юрьевская расхохоталась и тут же проделала то же с дежурным флигель-адъютантом. Зато она была не интриганка; добра, хоть и ограниченна. Никого не сделала несчастным, и в ее обращении — сначала особенно — было что-то неуверенное, смущенное. Точно она извинялась за то, что заняла при дворе такое положение. А могла ведь наделать всем немало горя. Она даже личных врагов своих щадила. Как-то она выручила какую-то придворную знатную даму, первую сплетницу, много и часто портившую ей жизнь. Другая бы воспользовалась и утопила врага, а она не отставала от Государя, пока тот не только не простил эту остзейскую баронессу, но и восстановил ее во всех ее должностях. «Как вы могли простить ее?» — спрашивали у Юрьевской. — Что вы хотите… У каждого своя манера мстить. — Когда ей приходилось особенно жутко от какого-нибудь дворцового скорпиона, она задумывалась:

— Верно, я сама, не зная, в чем-нибудь уж очень провинилась перед ним.

Ее терпеть не мог наследник, но ему на нее пожаловаться нельзя было. Она ни разу не воспользовалась случаем отплатить ему той же монетой. А таких представлялось не мало. Ведь вы знаете, какие трения бывают между двумя дворами, старым и будущим, готовым сменить его. Напротив, я знаю, например, что Александр II был очень гневен на сына. Юрьевская в такие минуты предупреждала наследника не попадаться отцу на глаза. Делала все, чтобы, как она выражалась, «утихомирить» мужа. Он очень ценил это.

— Ты ее не знаешь, — говорил он, — это ангел.

Она, впрочем, иногда выходила из себя. У Мих. Дм. Скобелева было два злейших врага, вел. кн. Владимир и Воронцов-Дашков. Раз они взапуски начали, как выражались тогда, кормить царя вяземскими пряниками, то есть лгать на Скобелева. Это было легко: народный герой ненавидел двор и не скрывал своего отвращения к нему. Владимира он называл prince-consort [37] Бисмарковской содержанки, а Воронцову-Дашкову, которого посылали в Туркестан за дешевым Георгием (приехал, пообедал и получил!), он не дал такого.

Юрьевская сначала слушала спокойно, а потом вскочила, — так, что весь сервиз с маленького чайного столика полетел на пол и вдребезги — особа она была весьма «комплектная»:

— Как вам не стыдно!

— Что?

— Повторите это при генерале, когда он будет здесь. Только

трусы и клеветники лгут на отсутствующих. Он столько сделал для России, что его можно было не забрасывать грязью, особенно при его государе.

Александр III никак не мог помириться с нею. После смерти императрицы он боялся коронования Юрьевской. А окружавшие нашептывали ему, что ослабевший и опустившийся царь может в угоду жене изменить и самый порядок престолонаследия. Близкие к наследнику пьяницы и реакционеры — разумеется, прежде всего боялись за свое будущее. Разумеется, император вовсе не думал об этом. Он хотел только объявить жену государыней, узаконить ее положение при дворе, не собираясь нисколько отнимать у дофина его родовых прав. Коронация или нет, но ей дан был бы титул Величества и одновременно с этим высочайше дарована была бы русскому народу та самая куцая конституция, о которой столько говорили в свое время. То есть созваны были бы в государственный совет депутаты от сословий с правами только совещательного голоса.

Чтобы не повторяться, я об этом больше говорить не буду, так как сказал все, что мне было известно, в своих воспоминаниях о Милютине.

Я не знаю, какое письмо Михаил Тариелович получил из Петербурга, но я раз застал его очень раздраженным. Он лежал в постели совсем оливковый, глаза его зло сверкали из-под седых нахмуренных бровей, а большой нос казался еще длиннее, так он за эти часы осунулся. И погода была подлая. Pallazzo, кажется, Cataldi [38] на площади Гримальди заслонился ото всех садом, пальмы которого сейчас неистово трепал ветер, срывавший палевые бенгальские розы и далеко уносивший отсохшую осеннюю листву. Я жил в отеле рядом, но пока я перебежал эти несколько шагов, меня чуть не вывернуло наизнанку. В этот вечер «диктатор сердца» высказывался гораздо резче, чем всегда.

— Если бы ум Александра III равнялся его характеру и воле, да при этом дано было ему еще и образование, хотя бы такое же, как и германским принцам, например, — его царствование отметилось бы как одна из блистательнейших страниц в истории России. Но, к сожалению, он был не только невежда. Это еще ничего. Недостаток сведений пополняется знаниями окружающих. Он боялся умных и ученых людей! Он ненавидел их. Самым ужасным приговором для государственных людей в его устах было: он слишком умен для меня. Настоящие курдские мозги!

— Что? — не понял я.

— Курдские мозги… А вы еще кавказец! Неужели не слышали дома: «У него курдские мозги»?

— Не случалось!

— У нас есть пословица: вбил дурак гвоздь в курдский мозг и сто умных, как ни потели, вытащить его не могли. Раз А. III влетела в голову какая-нибудь мысль, — кончено. Вы могли созвать всю Академию наук и доказывать, что это чепуха — все равно. Он тупо смотрел бы вам в глаза и повторял: «Я сказал». А. И в свое помазанничество не верил. Считал это прерогативой самодержавия — такою же, как корона, скипетр и держава… Регалией, что ли, власти, и только, а А. III признавал, как догмат, что его ум и сердце в руке Божией и что он ни делает — во всем исполнение воли Всевышнего. Если он ошибается, значит, ошибается и Всеведущий. С этого его свернуть нельзя было. Ни один папа не верил так в свою непогрешимость. Как-то при нем заговорили о союзе Павла I с Фридрихом, как гибельном для России. Он очень резко возразил: «Об этом судить может только Бог. Ему виднее — зачем он направлял в эту сторону мысли государя». Если хотите, в пережитке средневековья у А. III было свое величие. Во всяком случае, это была не трость, ветром колеблемая, а громадный утес, о который разбивались и события и убеждения, и дела и люди, и правда и ложь. Я не знаю, каков он сейчас. Я давно не был в Петербурге. Повлияла ли на него действительность — не думаю.

В том же доме, где жил Михаил Тариелович, была большая и великолепная квартира хлебосольной «старой барыни» Челищевой, тоже коротавшей свой век в Ницце. Она, как и Лорис-Меликов, не мирилась с новым временем и новыми птицами. Тогда в этом солнечном городе образовалась русская колония, будировавшая из прекрасного далека, за «чертою досягаемости». В ней видную роль играло потом семейство Арнольди. M-me Arnoldi написала когда-то недурный роман из русской жизни «Vassilissa», и появиться у них на «четверговом пироге по-московски» без глубокого знакомства с этим классическим произведением считалось неприличным. Помню даже, как Макс. Макс. Ковалевский заехал ко мне из Больё.

— Нет ли у вас «Василисы»?

— Нет. А что?

— Да ведь мы с вами обедаем у Арнольди.

— Ну?

— Она заговорит о романе… Расскажите мне, в чем там дело?

Раз, когда я сидел вечером у Челищевой за русским самоваром (она любила демонстрировать писателей, художников и государственных людей хотя бы третьего сорта) и вел как-то спор с Викториеном Сарду, высокомерно изумлявшимся, что я не согласен с ним в каком-то вопросе о русской яви, от Лориса

появился лакей. «Михаил Тариелович просит вас».

Я застал его за моей книгой.

— Слушайте, а ведь вы революционер.

— ?

— Да… И самый вредный в их смысле. Они, дураки, только не понимают вас… К вам никак только придраться нельзя. Вы в каждой странице точно вода под землей просачиваете, роете подземные норы. Вот ваши «Плевна и Шипка» и «Год войны», — сколько вас за них ругали! Даже, помню, в шовинисты вас записали… А вы ведь войну так рисуете, что прочти я такие книги юношей, проклял бы мундир, вместо академии генерального штаба пошел бы в университет и сделался штафом. А в «Соловках»… Разве это у вас обитель? Что вам Гекуба? Вы просто воспользовались Германом и Савватием, и за их иконостасом рабочую коммуну изобразили. Ну и Федора наша цензура!

— Остается радоваться, граф, что вы не у власти.

Он (лежа в постели) приподнялся на локоть и, остро сверля меня черными горячими глазами:

— А почему вы думаете, что я не ваш единомышленник? Во всяком случае, я не с ними…

Помолчал, помолчал…

— Да, тогда мне и читать некогда было. Меня и с газетами больше Александр Аполлонович [39] знакомил.

— Россия идет к великой катастрофе. Наше полицейское правительство — совсем архаическое. Оно и слепо, и глухо. Я радуюсь, что умру скоро. Не доживу до страшных дней, когда наше отечество рухнет… В бессонные ночи — а они у меня часты — я вижу этот неизбежный суд истории. Подумайте: сколько времени прошло с раскрепощения крестьян, а им императорская власть не дала даже сносной школы. Александр II несколько раз говорил об этом, но наша придворная св. Германдада всегда становилась между ним и народом. Александру III и в голову не приходит народное образование. Если Победоносцеву удастся, он все его сосредоточит в руках попов. В этом ужас. Безграмотностью масс воспользуются умные демагоги и направят этот темный океан, куда захотят. И во всем так: возьмите родное мне военное дело. С турецкой войны сколько прошло? Ведь мы нашу балканскую кампанию едва-едва дотянули. Все у нас расползалось и разлезалось. А с тех пор ни одна прореха не заштопана. Успокоились на дешевом «Гром победы раздавайся» и заснули. Александр II говорил: «Нужно оставить это сыну». А сын взял Ванновского, который хвастается: «Вот я никакого высшего образования не получил, а сделался военным министром!» И вся мощь громадной империи в таких руках. А государь радуется:

«Наконец я нашел человека, который мне понятен». Я не знаю, откуда придет гроза, но она идет. Я вот в этой комнате, закутавшейся от света в темные гардины, предчувствую, вижу грозу… Какой-нибудь нежданный враг ударит на нас. И расшибет… А потом неизбежный ход истории: другого нет. Побежденная страна потребует реформ. Не нынешнее же правительство даст их. Оно все время сидит на штыках. Положение неудобное… Сам народ возьмется за дело. Ну, первые попытки будут задавлены… А потом… Знаете, ужасно то, что эти люди думают, будто для них история создаст новые пути, а не погонит их по старым. Поэтому их не пугает пример других династий и режимов. Я у вас прочел: «Когда история приговаривает к смерти тот или другой порядок, он не находит к своим услугам ни талантливых, ни сильных, ни умных людей». Какая это правда! Я отсюда оглядываюсь на Петербург. Ведь там уже исполняется этот приговор. Вокруг Александра III — нет таких. Я их всех знаю и вижу отсюда. Какая это все бездарность! Да, вы правы, страшно правы. Хорошо умереть теперь… Советую и вам не дожить до исполнения вашего зловещего пророчества.

В это время он уж не выходил из дому.

Очень плохо себя чувствовал. Сам говорил: в груди арба скрипит… Лежал целые дни и только в окно любовался великолепными пальмами, магнолиями и такой святой чистотою лазури, какой не видел и в небесах родного ему Кавказа.

Он знал, что дни его сочтены, и ждал спокойно. Любил повторять:

— Я старый солдат, и если смерть до сих пор меня щадила, так уж никак не по моей вине. Каждый день для меня отсрочка и… не особенно ценю ее. Время такое, что мы с Милютиным не нужны. А так коптить небо скучно.

В Ницце было сильное землетрясение.

— Наш дом ходуном, — рассказывали мне на place Grimaldi. — Ждали, вот-вот рухнет. Все бежали, кого в чем застало (дело было ночью) — на улицу, на площадь, к берегу.

Денщик (при нем остался такой) будит графа.

— Вставайте, ваше сиятельство!

— Зачем?

— Земля трясется! Сейчас все провалится!

— Что провалится?

— Земля!

— Куда?

— Скрось землю!

Как раз в это время глухой удар и судорога кабинета, где спал на диване Михаил Тариелович.

— Что ж, ты думаешь, если я встану, земля успокоится? Ступай, не мешай мне спать!

Перевернулся и заснул.

А кругом росла паника, обезумевшие ниццарды чуть не кидались в море. Перепуганные иностранцы в костюмах, не поддававшихся описанию, сослепу носились по улицам, а великолепный Мамонт Дальский, как был в постели, так и влез на фонарный столб, весьма основательно сообразив, что дома, пожалуй, и не уцелеют, а столб во всяком случае устоит.

Вечера он проводил за винтом. Постоянным партнером графа был Харитоненко. Вообще, это была не жизнь, а медленное, скучное доживание.

— Я в первый раз узнал, что в сутках двадцать четыре часа! — говорил он.

Ему некуда было девать их. Другой осколок эпохи Александра II — Д. А. Милютин, уединившийся под тень Симеизских тополей и кипарисов, разводил виноградники, писал свои воспоминания (интересно узнать, в каких кладезях государственного или семейного архива хранятся эти драгоценнейшие документы?). Его посещали выброшенные за борт уцелевшие работники «времени реформ». Наконец, когда ему надоедало однообразие крымского пустынножительства, он садился на пароход в Севастополь и делал экскурсии в Константинополь, Афины, Патрас и через Апулию в Неаполь и Рим. В одной из таких я его встретил, и изумился бодрости и неутомимости этого старца. Лорис-Меликов переходил от дивана к столу, и только. На его лице все чаще и чаще я замечал уныние. Как-то у него вырвалось:

— Не знаю, зачем живу… Меня оторвали от живого и кипучего дела. Я ведь не знал минуты покоя. Все последние двадцать лет провел в бреши или, как один из ваших героев говорит, на Малаховом кургане.

Действительно, до тех пор, до этой ниццской живой могилы, обвеянной шелестом пальм, дыханием поздних роз и ласковым трепетом моря, но все-таки могилы, он стоял на страде, не отрывая рук от государственного руля. Хорошо или нет, но делал свое дело. Во всяком случае, несравненно лучше, чем полуграмотные дворники Александра III. А тут вдруг — уходи в пространство — ты нам не нужен. Понадобились гробокопатели, которые сведут на нет все, что удалось до сих пор сделать, несмотря на невозможнейшие условия законодательного зодчества. Отнята надежда на лучшее завтра, право крикнуть предостерегающее «берегись», когда видишь, что корабль несется на подводные рифы или на утесы, не различимые

слепотствующим кормчим в туманах такого близкого будущего.

Он потому и дряхлел так быстро, — человек неутомимой борьбы, боевой тип. Он и в мирный труд в Петербурге, Харькове, на Кавказе, всюду, куда его бросала судьба или «высочайшее повеление», вносил решительные приемы военного времени, не знал сна и досуга, — а тут сплошное безделье, и некуда девать этих растягивавшихся в бесконечность, ничем не наполненных часов. И тянутся они для беспокойного характера, кипучей энергии и стальной воли так, что хоть головой в стену бейся…

Я упомянул о Милютине и его записках.

Лорис-Меликов вел тоже свои, но это был человек живого дела, а не письма, который сейчас же хотел видеть, что выходит из его работы. Милютин и на посту военного министра, и в бесчисленных комитетах — оставался профессором и писателем, обладавшим недюжинным талантом. Я помню его записки о Кавказской войне, в которой он участвовал еще при Николае I (ведь тогда все эпохи русской истории скрещивались не наиболее важными течениями народной жизни, — а вотчинным порядком — именами царей, часто враждебных собственному народу!). Не могу не повторить еще раз — авось это направит кого-нибудь, имеющего силы на такой подвиг, подобный Геркулесову в Авгиевых конюшнях — надо во что бы то ни стало найти мемуары Д. А. Милютина. Ведь они освещают дела и людей самой интересной эпохи нашей истории — эпохи, где этот просвещенный автор и по тогдашнему либеральный «сановник» был не только ответственным работником, но часто вождем и вдохновителем. Не ждать же нового беспардонного Носаря, который по малоумию и мстительному гневу возьмет да и сожжет государственный архив, как он жег такой же Петербургского Окружного Суда и Судебной Палаты. Там же ведь ждут во блаженном успении архангельской трубы многочисленные письма и записки М. Д. Скобелева. По повелению Александра III их отбирали у всех друзей и знакомых гениального полководца, может быть, для того, чтобы окутать непроницаемой тайной все обстоятельства его убийства спадассинами «священной дружины», убийства, совершенного по приговору, подписанному без ведома царя, — на это бы Ананас не пошел — одним из великих князей и «Боби» Шуваловым, считавшими этого будущего Суворова опасным для всероссийского самодержавия.

Да, Лорису было хуже, чем Милютину.

Мне кажется, что он и записки свои бросил.

По крайней мере, он не раз говорил:

— Я привык, любезный друг, не писать, а подписывать.

Еще диктовать туда-сюда, но и для этого в тогдашней

ниццской русской колонии он не нашел бы достаточно грамотного и досужего человека. Визиты, сплетни, интриги вокруг русской церкви, файфоклоки, флирт и Монте-Карло поглощали все время этих в большинстве пустых и глупых недоносков. А кто был поумнее, у тех оказывались свои большие дела и неотложные работы.

«Либеральный чиновник» — это теперь звучит наивно и смешно. Мы берем такие верхние ноты, чуть ли не в трехчетвертное ля-бемоль социального творчества попали, что средний регистр нас не удивляет, но в те времена, о которых я вспоминаю, даже такой слабительный лимонад, как «диктатура сердца», был в диковину. Лориса-Меликова, впрочем, всегда тянуло влево. Он в своем изгнании дружил с Белоголовым, с Джаншиевым, с эмигрантами-врачами. Как-то я застал у него зловещую и несколько театральную фигуру настоящего бундиста. Было ли это со стороны Лориса-Меликова лукавство, но он так заворожил мрачного незнакомца, что тот, выходя со мною, несколько раз повторял:

— Вот это человек!.. Никогда не думал!

А на другой день Михаил Тариелович мне: «Знаете, каждого купить можно. Одного звездою, другого деньгами… А этот, вчерашний, дешевле всего».

— ?

— Так… Он, уходя, так мне жал руки… А я, всего только, его внимательно не слушал!

Потом он о таких же типах:

— Страшные люди! Мы все не верим себе. Жизнь большинства из нас — сплошное ложное положение. Мы думаем одно, говорим другое и делаем третье. Эти верят тому, что они говорят. За ними большая сила. Весь их кругозор — в куриный нос, но у других он еще короче, а убежденность их, разумеется, увлекает массу. У них готовые лозунги, и они так же легко воспринимаются ею, как… впрочем, вспомните апостолов. Ведь и всю их философию, все учение можно уложить в десять строк всего — легко усвоить, выучить и повторить другим. А главное, не надо думать, догадываться. Я читал ваши книги давно, признал в вас революционера, но у них будет больше успеха. Вы доказываете — а народу это скучно… Эти проще: они приказывают, и толпе это понятнее.

Блуждавшие по Европе сановники тоже заглядывали к нему. Но с опаской… Или точно совершая подвиг невероятного мужества.

— Я ничего не боюсь… Я даже у Лориса был…

И сам на себя любуется в зеркало: вот-де какая я цаца,

смотрите на меня, православные.

Даже заплечные мастера Ананаса III показывались у него, складывали губы пупоном и журчали: как-де у нас жалеют, что вашего сиятельства нет в Петербурге. А между тем стоило бы вам, граф, пожелать и… Наш Августейший сколько раз вспоминал… Ваша государственная мудрость… и проч. и проч. и проч., все, что полагается Иуде Искариоту говорить в таких обстоятельствах. После них, бывало, Лорис-Меликов отдувается, точно он воз в гору тянул.

— Много я теперь согрешить могу. Два вечера с Дурново провел. Сейчас бы умереть — прямо в рай.

Он с ними и говорить не умел, а может быть, и не хотел. Только с ласковою усмешкой слушал. Понимай-де, как хочешь.

— И ведь всякий щучий мозг воображает, что он обвел меня вокруг пальца. А в Питере хвастаться будет: «Я-де армяшку так пронял. Он уж и туды, и сюды, а я его и в хвост, и в голову». Знай-де наших, какие мы богатыри.

Я помню раз такое свидание.

К Лорису приезжали «каяться» разные старые сослуживцы и единомышленники, побратавшиеся при дворе с Победоносцевыми и Толстыми. Вращаясь вокруг грузной фигуры А. III, поневоле ставили точки ко всему движению народа и государства, все-таки начавшемуся в прошлое царствование. И не только ставили точки, но и делали мерзости, а старое тянуло к другому, к либерализму интимных вечеров и товарищеских обедов в отдельных кабинетах у Донона. Отдыхая за рубежом, они считали долгом (заметая след лисьими хвостами) собеседовать с Михаилом Тариеловичем в минорном тоне. По Щедрину — являлись «сечься». Лорис, лукаво щуря глаза и пряча под большим армянским носом насмешливую гримасу, добродушно выслушивал все…

А сам молчал.

— Отчего же вы ему не отвечали?

— Так ведь это он тут, в смокинге, между обедом в Кафе Режан и ужином в Арменонвиль. А как нацепит в Питере вензеля — сейчас опять будет каяться в другую сторону, с сокрушенным видом и столь же искренно и откровенно. Вот-де, что мне этот восточный человек, Карапетка, говорил… Ну уж… Только бы дожить.

И вдруг:

— Тяжело мне… Как тяжело, без дела.

— И ведь, что ужасно: ясно вижу, черным по белому, как бедной России придется расплачиваться за эти знаки препинания Александра III…

Он так часто из своей ниццской кельи уносился тревожным

предчувствием к далекой России, что и я, поневоле, вспоминая встречи с ним, возвращаюсь то и дело к этой излюбленной им теме. Он, казалось, читал в закрытой книге неумолимых судеб то, что ждало нас в очень близком будущем. Он даже предвидел неизбежную войну с Японией, и в его смятенной душе росло сознание общей вины перед народом, которому суждено пройти через катаклизмы: «И они будут так же неизмеримы, как громаден он. Маленькие политические единицы легко проходят через всякие потрясения. В какой-нибудь Португалии, напр., родовые боли революции пройдут в неделю-две, а в России даже не определишь, сколько этому чудовищному котлу надо будет перебродить, чтобы все в нем опять отстоялось… И это неизбежность! Пока еще есть время, и я в Петербурге говорил, писал туда — и в ответ: «Давно ли вы, граф, стали трусом…» Или: «У страха глаза велики». А Победоносцев даже в государственном совете отрезал мне: «Разумеется, злоумышленникам нужна будет диктатура сердца… Поставь кое-кого из их пособников и покровителей к рулю — тогда действительно и у нас повторится 93 год, и новый Людовик XVI взойдет на эшафот. Пусть нас не пугают инородцы (это, разумеется, — намек на меня). У русского царя найдется достаточно и кандалов, и штыков, и мест, которые на географических картах обозначаются точками, для тысячи самозванных Дантонов, Маратов и Робеспьеров…» Я поднялся и спрашиваю: «Кого это ваше высокопревосходительство считаете инородцами?» А кощей, сверля меня в упор злыми глазами: «Как кого? Ведь ваше сиятельство изволили только что говорить, что в России революция будет особенно ужасна потому, что наша страна представляет конгломерат десятков народов, интересы которых часто не только не сходятся, а противоречат одни другим. И что успокоение, которого можно достигнуть в одноплеменном государстве легко — идя навстречу его господствующим требованиям, — почти невозможно там, где все это сшито на живую нитку и готово расползтись при первом удобном случае». И потом ехидно подчеркнул: «Прошу заметить, что, по толкованию графа, любовь к царю, вере и отечеству является только живой ниткой… Ну что же, у его величества найдутся, когда понадобится, не только живые нитки, но и мертвые петли!»

— Не могут, — волновался Лорис-Меликов, — такие преступления правителей проходить безнаказанно для их подданных. Народы, которые терпят подобную власть, так же виновны, как и она. Перед высшим судом истории они всегда в ответе. И, разумеется, к вашему социалистическому раю, — насмешливо подчеркнул он, — России, хоть она и православная,

придется пройти через католическое чистилище.

— Вы спрашиваете: откуда придет гроза? Почем я знаю. Я не сейсмограф, чтобы указать это. Да и сейсмографы отмечают только то, что уже где-то началось… Думаю, что созданная при благосклонном содействии российских императоров Голштейн-Готторпской династии могучая Германия толкнет нас куда-нибудь в опасную и, во всяком случае, безумную авантюру, чтобы ослабить нас и, обессиленных, утративших волю, гений, характер, — разгромить, расчленить и вернуть к границам Великого Княжества Московского. На нашем востоке растут страшные силы… Представьте, чем будет пробудившийся Китай… А что такое молодая, или, лучше сказать, воскресающая Япония? Я присматривался, когда стоял у власти, к их дипломатам. Могу сказать, они не по плечу нашим. Сюсюкающие, пронырливые, наблюдательные, они видят все… И их обязательная улыбка — является для меня зловещее трагической маски… Я когда-то заговорил об этом с государем накануне моей отставки… Он удостоил только засмеяться и потом — Черевин мне передавал — Александр III ему: «Представьте себе, Лорис меня Японией пугать вздумал». Ну, разумеется, общий хохот. А приглашенный в этот день к высочайшему столу Ванновский как будто вскользь заметил: граф видит, что почва под ним колеблется после ужасного события (1-е марта), ну и строит себе золотой мостик в государственные канцлеры и министры иностранных дел.

— А теперь, ведь, немного прошло, посмотрите, кто остался в Петербурге. Кого оттуда гонят? Всех сильных людей, людей инициативы, способных брать все на свою ответственность. Глупым людям — нужны слепые исполнители, каменщики, а не архитекторы, писцы, а не законодатели. И ведь жизнь не ждет. Мировые воды бегут мимо, созидают рядом вавилоны. Под лежачий камень они не текут, а через него перебрасываются… Сейчас мне пишут о нашем способе защищать западную границу: немцы там — крепость, а мы против сейчас же церковь, две, три. В иноверной массе! По австрийскому рубежу — швабы нарыли сплошной ряд твердынь, которые придется одолевать нашим серым богатырям, а мы — визави — православные обители, точно Холмщина и вся эта окраина сразу воссоединится с нами от звона колоколов. Подумаешь, какие трубы израильские против новых иерихонов… А в военном ведомстве — полный простор безымянному доносу. Теперь начальству приходится трепетать не только своих помощников, но и писарей. Чуть что — сейчас же анонимное послание Ванновскому, а он на место командирует Баранка или кого другого. А роль жандармов в дивизиях и корпусах! Следи-ка за офицерами, за направлением умов… Да…

Не сразу все придет. Сначала боевые неудачи… Потом крах внутри и развал всего Государства.

— Ну уж и всего Государства!

— Не так это глупо, как вам кажется. Какие обручи сбивают Россию в одно политическое тело? Ведь не внутренняя связь, не химическое сродство, а именно обручи… Хоть и железные. А если кто или что их собьет? Что же, доски сами удержатся? Разве это «отечество» для населяющих его народов? В лучшем случае, кордегардия или Управа Благочиния. Была когда-то такая. Пришел, дал взятку и грабь. Своего рода папская индульгенция вперед… Обеспечение полной безнаказанности… Эх, лучше не думать. А только вот что скажу вам: умру скоро, вы меня переживете и не раз позавидуете мне.

Разве покойный не был хорошим пророком?

Сколько раз в роковые дни всероссийского боевого позора, сначала у Тихого океана, а потом на западе, и теперь в страшную эпоху народного гнева, творческого, но беспощадного, я завидовал ему, лежащему в своей далекой могиле.

Мертвые сраму неймут…

Как жаль, что я не принадлежу к тем живым, которые его не чувствуют!

Отечественный цинциннат (Д. А. Милютин)

Память Лорис-Меликова вся сплелась с эпохою хотя и лучшего из Романовых, но все-таки неустойчивого и слабовольного Александра II. При Николае I он только что был выпущен в офицеры и проходил боевую школу на Кавказе. В еще большей степени это должно сказать о личном друге царя и не только участнике, но и инициаторе многих реформ — Д. А. Милютине. Без него — начинания молодого императора оборвались бы в самом начале, потому что государь был именно тростью, ветром колеблемой, и неистовая реакция петербургского двора скоро бы свернула его с путей, о которых он мечтал еще наследником. Россия не получила бы и того малого, что он ей дал. Милютин, с одной стороны, Ростовцев, заглаживавший свое подлое предательство, — с другой, умели оборонять монарха от происков и интриг высокопоставленных вотчинников. И не в этом только роль, которую в нашей истории сыграл скромный профессор академии генерального штаба Милютин. На протяжении всего царствования Александра Николаевича он, и только он, будучи военным министром, в сущности, являлся и министром народного просвещения. Ему совершенно справедливо ставили в упрек, что он не столько заботился о подъеме боевой мощи России, сколько о распространении в ней грамотности, делая военные части настоящими школами. Говорю об этом вскользь, — ниже остановлюсь на образовательной деятельности Д. А. Милютина подробнее.

Мы шли из Патраса в Бриндизи.

Адриатика казалась совсем воздушной.

Точно мы, не касаясь волн, неслись в сказочном царстве лазури, — так в этот удивительный день и море, и небо сливались в одно марево.

Я вышел на палубу.

Направо — белый Миссолунги с белыми свечками минаретов и тяжелыми, горевшими на солнце, изразцовыми куполами мечетей. Кто-то вспомнил, что тут умер и погребен был Байрон, дравшийся за свободу Греции, и мы все приподняли шляпы, чествуя память не только великого поэта, но и героя-человека.

Вдруг слышу около несколько строк по-русски. Смотрю — Д. А. Милютин, цитирующий Пушкина о Байроне.

Я искренно обрадовался этой встрече.

Давно не видел его. Он жил отшельником в Симеизе, не в

милости у Александра, которому бывший министр казался живым укором. Он называл графа в насмешку «Димитрий-Просветитель», считая это и злым, и остроумным. Жалка была аудитория, угодливо хохотавшая на эту царскую шутку, — бившую другим концом коронованный медный лоб. Ананасу III и еще неприятнее был Д. А. потому, что в свой либеральный период (у наследников — всегда бывают такие, почему легковерные народы связывают с августейшими лгунами все свои надежды на лучшее будущее…), до вступления на прародительский трон, он не раз повторял Милютину: я дам народу широкую конституцию. Срам, мы ввели такую в освобожденной нами Болгарии — и, вернувшись, обманули все упования русского общества. И по поводу только что составленного Александром II манифеста о выборах в государственный совет народных представителей:

— Я бы постыдился обманывать Россию такими фальшивыми документами.

И хотя это высочайшее повеление было уже подписано, но царь был убит до его обнародования.

И как все наследники, когда пришлось уплачивать по принятым на себя обязательствам, он оказался банкротом. Вместо «широкой конституции» явился «Ананас», а прогрессивных деятелей так много обещавшего либерального кануна выкинули за борт, чтобы те… не мозолили глаз.

— Я, должен сознаться, — говорил Д. А. Милютин, — верил Александру III. Ведь еще за несколько дней он называл Победоносцева старым подьячим, святошей, говорил, что от него пахнет лампадным маслом. И сейчас же после смерти отца он позвал к себе Константина Петровича… Говорят, что «Ананас» был продиктован этим кувшинным рылом петербургской реакции, сыгравшим на трусости растерявшегося и ограниченного царя. «Ананас», впрочем, стоил манифеста, написанного Лорис-Меликовым о цареубийстве, начинавшегося бессмертной фразой: «Воля Всевышнего свершилась». Таким образом, сделав Рысакова и Кибальчича верными и исполнителями Божьих велений, он все-таки их повесил, повесил бы и Бога, но тот оказался вне черты досягаемости.

Многие считали смерть Александра II большим ударом по России.

Были даже капитаны Копейкины, приписывавшие ее интригам малого двора и дворянской партии, испугавшейся даже призрака конституции.

Я сказал об этом Милютину.

Его мнение сходилось с таким же Лорис-Меликова.

— Вы знаете, я в Александре II потерял не только государя,

но и друга. Мне тяжело вспоминать об этом, но уж если говорить правду: какая же это была конституция? Несколько совещательных голосов от земств, городов и сословий, без права решающего голоса, какого не имел и государственный совет, потому что царь то и дело соглашался с меньшинством… Эти «совещатели» не имели бы никакого значения, потому что старые служилые бонзы совета всегда бы их подавляли численностью. Они только и могли делиться с их высокопревосходительствами своими сведениями с мест. Нечто вроде справочного бюро при госуд. совете. И это была бы не реформа, а взятка общественному мнению…

— Почему взятка?

— Неужели вы не знаете: готовилось признание морганатического брака со светлейшей княгиней Юрьевской (Долгоруковой тож).

— Да, мне говорил об этом Лорис-Меликов. Но ее бы не короновали.

— О, нет! Не только предполагалась коронация, но и дарование всех великокняжеских прав ее детям. Манифестом о конституции предполагалось так восхитить народ, что он с энтузиазмом примет и благословит новую императрицу, приписывая Великую Реформу ее благодетельному влиянию. Если бы Россия осталась равнодушна к этой новой высочайшей милости, куцое [40] — вы помните Минаева — представительство впоследствии можно было бы и смазать. Тот же государственный совет, раболепный и угодливый, мог бы подать петицию о неудобстве нового порядка, «мешающего течению дел этого высшего в империи учреждения». Ведь трения с его старцами всегда можно было вызвать. Особенно на это пригодились бы прибалтийцы.

Д. А. Милютин очень любил Александра II.

В Милютине чувствовался не царедворец, а друг. Царедворцем он и не мог быть по характеру. И он с едва скрываемою грустью говорил, что государь в последние годы сильно изменился. Он так подпал под влияние Юрьевской, что министры, прежде чем являться к нему, заходили к светлейшей. В Александре II предполагали начало прогрессивного паралича, хотя, кажется, никаких задатков к этому у него не было. Глаза у него сделались точно стеклянные, и он всегда шел, глядя неподвижно и прямо перед собою, точно ноги у него были заведены скрытым механизмом. Он не замечал на пути никаких препятствий. Заботою окружавших было отодвигать по этой прямой линии столы, стулья, все, что он не видел или не удостаивал видеть. Потом я точно такие глаза, широко открытые

и бессмысленно стеклянные, встречал у короля Италии Гумберта. У того и другого не мигающие и потому жуткие…

— Это был в высшей степени человек личных отношений. Он не потерпел бы около гения, если бы тот не сумел быть ему приятен. Такая бездарность, как Краббе, окончательно сгубивший наш флот, только и держался на министерском посту благодаря умению хорошо рассказывать скверные анекдоты. Во сколько сотен миллионов обошелся народу веселый хохот государя! Повторяю то же, что вам говорил Лорис: Романовы вообще смотрели на Россию, как на вотчину, и раздавали ее всякому, кто умел вовремя подойти, занять их и, разумеется, понравиться. Так за семь миллионов рублей были проданы Соединенным Штатам наши Северо-Американские владения с Клондайком, давшим в первые же годы миллиарды предприимчивым янки. Так разбрасывались на ветер концессии в явный ущерб казне. Так, начиная с великих князей и кончая любым ловким проходимцем, разворовывался Кавказ, лучшие угодья которого они подобрали к рукам, так из государственного ящика платились долги всевозможной сволочи, умевшей вовремя попасться на глаза и выразить и глазами, и телодвижениями полную угодливость, выдавались сногсшибательные пособия, содержались всевозможные принцы иностранных династий. Выплачивались громадные суммы дон Карлосу, напр., Черногорским бедным князькам, и раз состоявшееся в этом смысле высочайшее повеление не отменялось никогда. Субсидия не прекращалась даже за смертью осчастливленного такой высочайшей милостью, а как недвижимое имущество переходило к наследникам. На воспитание светлейшего князя Суворова, когда он был еще ребенком, ассигновали довольно значительное ежегодное вспомоществование, и он продолжал его получать даже и тогда, когда ему стукнуло за семьдесят. Не знаю — уплачивают ли эту сумму его родственникам, когда он уже покоится во блаженном успении.

— Как это ни странно, но в нем было что-то Фамусовское. Впрочем, ведь Фамусов — это общечеловеческий тип, в особенности заметный у нас. За рубежами фамусовщина ограничена законодательством, дисциплиною, свободою печати, а у нас ей простор. Александр II в своей «вотчине» — России, как помещик, считал себя единственным хозяином, которому принадлежат ее земли и воды. Так, когда его брату вел. кн. Михаилу — наместнику Кавказа — приглянулись Боржом и Аббас-Туман, два перла этого великолепного края, царь одним росчерком пера «быть по сему» отнял их у живых владельцев и без всякого вознаграждения отдал его высочеству. Настоящие

собственники пошли по миру. И это часто повторялось в Грузии, Имеретии и по Черноморскому побережью. «В Берлине есть судьи» — ведь это было еще при Фридрихе Великом в Пруссии, ну, а у нас и до сих пор нет таких судей, потому что рядом с неограниченным самодержавием не существует законов, на которые они могли бы опираться в борьбе с самоуправством верховной власти.

— Даже, — рассказывал Милютин, — когда «приятного человека» ловили на скверном деле: крупной взятке, перепроданной чудовищной концессии, проведенной через высокопоставленных хапуг неопрятной афере — такому почти всегда удавалось не только вывернуться из беды, но и сохранить свое положение. Надо было только подать это дело государю вкусно и смешно, и все оканчивалось цитатою из Гоголя: «Смотри у меня — не по чину берешь». Или еще проще и милее. Александр II добродушно замечал: «Бедный человек, пусть покормится. Россия от этого не разорится». Французы подняли гвалт по поводу Панамы. Да у нас такие Панамы случались в каждом министерстве, имевшем доступ к казенному сундуку, и все было и шито и крыто. Даже была в ходу сакраментальная фраза: надо держать высоко честь ведомства! И эта честь заключалась не в том, чтобы свернуть мошеннику голову, а в том, чтобы прикрыть его, лишь бы не узнал сосед. Если уж проворовавшийся был особенно противен, его выкидывали вон, но с мундиром, пенсией и знаком беспорочной службы. Сколько надо было усилий, чтобы поднять дело о грандиозном, превыше всяких Панам, и наглейшем мошенничестве с башкирскими землями. А ведь такая Башкирия у нас была в каждой губернии. Ведь из-за этих башкирских земель — я особенно настаивал о всей строгости законов по отношению к виновным — он сказал мне: «Нам с тобою, Димитрий Алексеевич, нельзя служить вместе. Лучше расстанемся добрыми приятелями». На другой день я приехал к нему с прошением об отставке, он расплакался — слезы у него были необыкновенно легкие! — и, обняв меня: «Прости, между такими старыми друзьями не должно быть никаких счетов. Я виноват»… И швырнул мою просьбу в камин. Но вся строгость законов осталась тоже в… камине.

— Он, собственно, не был врагом представительного образа правления. Напротив! Я помню, как-то раз мы засиделись у него после карт. Кажется, Адлерберг заговорил о вырабатывавшейся Иванюковым (профессором) и Соболевым конституции для болгар. Она ведь куда шире бельгийской. Александр II обрадовался: мы-де зажали рот Джон Булю. «Воображаю, как Виктория оторопела, никак не ожидала!» — «Одно неловко, —

заметил Адлерберг, — Болгарии дали, а дома…» И запнулся. Царь понял и с улыбкой ему: «Что ж, я не прочь, даже рад. Мне будет гораздо легче. Ну, а вот вам всем придется скверно. Это я не о тебе, Димитрий Алексеевич. Ты — либерал. Ты почувствуешь себя, как рыба в воде. Ну, а Адлербергу»… И расхохотался… И, разумеется, Адлерберг увял и остерегался возвращаться к этой теме.

— Иногда он нас очень изумлял. Я помню, на интимном обеде его любимец и конфидент, немецкий посол Швейниц — которому Россия обязана самыми реакционными мерами Александра II и разорительнейшими уступками Германии — насплетничал Его Величеству, желая насолить чуть ли не Макмагону, тогдашнему президенту Французской республики, о том, что этот глупый, но самолюбивый генерал весьма непочтительно отозвался о царе. Александр II приказал, не скрывая, точно передать подлинные слова Макмагона. Швейниц, разумеется, только этого и хотел — и наврал, якобы с военного немецкою откровенностью, и обидно, и подло, и расшаркиваясь во все стороны. Государь задумался. Пауза продолжалась довольно долго.

— Решительно не припоминаю!..

Опять молчание.

— Нет… Роюсь в прошлом…

Наконец, Швейниц позволил себе спросить:

— О чем угодно вспомнить Вашему Величеству?

— Не понимаю. За что он меня так? Ведь я никогда не имел случая сделать ему доброе…

— Влияние немецких послов в это царствование было ужасно, с ним никто не мог бороться, и только впоследствии, когда все тайное станет явным в России, поймут, сколько зла ее народам сделали немцы. Особенно старик Вильгельм, перед которым Государь благоговел. Мы всегда отмечали рост реакции — после каждой поездки Александра II в Эмс. Там два императора проводили вместе от месяца до шести недель. Пили воды и не разлучались. Они гуляли вдвоем, окруженные в почтительном отдалении германскими шпионами, оберегавшими их. Многие мировые вопросы были решены на этих интимных tete-a-tete в ущерб России. Раз Александр II, вернувшись из Эмса, сказал мне: могущественная Германия — наша единственная опора и естественная союзница. Впрочем, и вся его политика строго направлялась к этой цели. Вмешайся Россия в датскую авантюру Бисмарка — и Шлезвиг с Голштейном остались бы в рубежах маленького и дружественного нам народа. И Австрия не была бы разгромлена — если бы мы шелохнулись только в эту

злополучную для нее войну. Александр II весь был одна открытая рана. Этакого самолюбия я не знаю другого в истории последнего времени. Он никогда не руководился пользами государственными или, лучше сказать, отождествлял их со своими личными счетами. Романовы вообще мстительны до слепоты. Желая наказать Австрию за ее роль в нашу Крымскую кампанию — он позволил Германии разбить ее и усилиться за ее счет, то же самое по отношению к Франции. Поставить войска на рубежах Австрии и удержать ее от реванша в 1870 году — мог только ослепленный жаждою мести, личной мести Наполеону III, император. Так мы, и именно мы, подняли на ноги и позволили создать чудовищную силу германскому престарелому государю, которому наш был не только преданным племянником, но и вернейшим вассалом. Лучше всего то, что после торжественного вступления германских войск в Париж Александр II сказал мне: ну, я теперь свел свои счеты с Францией… За меня заплатил ей с процентами император Вильгельм. — Таким образом, у него на первом плане были всегда свои счеты, и только. После нашей турецкой войны мы отдали румынам, нашим союзникам, болгарскую Добруджу, которою мы не имели никакого права распоряжаться, и вернули себе белградский уезд с Килией — чисто румынские, чего маленькое государство никогда нам не простит. Этот клочок нам вовсе не нужен. Мудрое правительство великодушно забыло бы о нем, ввиду боле крупных интересов и установления прочнейшей связи с народом, оказавшим нам в трагический момент прошлой войны важную услугу. Но, к сожалению, Романовы отличались всегда громадною памятью, особенно там, где это… было вовсе не нужно!

— Скажите, граф, правда ли, что существовал такой план: ввиду обеспечения России от польской опасности — начать фиктивную войну с Германией, причем наши войска должны были отступать до линии Вислы, не принимая боя. Затем, уступив всю эту часть бывшей Речи Посполитой, заключить с империей Вильгельма мир, получив взамен какой-то совсем не нужный нам клочок в Турции…

— Кто вам говорил об этом?

— Секрета тут нет. Генерал Черняев и потом Скобелев.

— Вы позволите мне не ответить на ваш вопрос?.. Вообще, как это ни горько, но последние годы покойный император, особенно во внешней нашей политике, делал одну ошибку за другою. Страшно сказать — особенно мне, его другу, но судьба вовремя вычеркнула его… Теперь хуже, но я думаю, если бы жил Александр II, мы играли бы в Европе очень плачевную роль…

Александр И плохо разбирался в своих симпатиях и

антипатиях. Одно время он считал своими злейшими врагами всех Крапоткиных, потому что от души возненавидел бывшего камер-пажа, талантливого социолога и крупного ученого анархиста-эмигранта, князя Крапоткина. Когда ему доложили о его бегстве из Петербургской тюрьмы — одной из самых героических в истории революционного движения страниц — у государя вырвалось:

— Жаль, нет Муравьева… Он умел справляться с ними… Повешенные не бегают.

— Царь менялся в лице, когда кто-нибудь называл Крапоткина. Опять личное самолюбие… «Мой камер-паж, подумай, мой камер-паж!» Это была какая-то слепая злоба. Я вспоминаю случай, который был бы забавен, если бы от него не пострадал совсем невиновный человек. Он где-то в числе дворцовой прислуги (кажется, если мне не изменяет память!) увидел новое лицо. Подозвал. Спросил, откуда. Оказался костромич. Давно ли назначен?

— Два дня, ваше императорское величество!

— Как зовут?

— Иван Крапатин.

Государь подался назад и приказал:

— Убрать!

И потом, негодуя:

— Только у меня Крапоткиных и недоставало. Узнайте, кто его назначил.

Вечером ему Адлерберг осторожно: управляющий дворцом не виноват. Фамилия нового лакея не Крапоткин, а Крапатин.

И чтобы государь не принял это за дерзость министра, осмеливающегося поправить его ошибку, пояснил: лакей, верно, перепугался и неясно произнес свое имя.

— Да?

Александр подумал.

— Ну все-таки пусть он переменит его.

И Крапатин стал Крапоткиным. Ведь вы знаете: цари ошибаться не могут. Александр Благословенный раз по ошибке какого-то генерала вместо Петра назвал Ардалионом, и в ту же ночь были переделаны все документы его превосходительства. И. Ф. Горбунов сделал из этого один из остроумнейших своих рассказов.

После Петра это, пожалуй, был лучший из царей, но интересы государства он понимал, повторяю, только по отношению к своему «я». Вы помните назначение Александра Баттенберга на Болгарский престол? Мы все умоляли его не делать этого. Знали, какими бедами грозит России такой выбор. Ведь германский

князек не скрывал своей ненависти к народу, освободившему придунайские провинции. Адлерберг даже стал на колени. Царь милостиво его поднял.

— Я верю, что ты предан мне… Но я обещал императрице. Которая, разумеется, служила своим германским родным.

Она не обращала внимания на его внебрачные привязанности, а он ее компенсировал, поступаясь, где это случалось, нашими кровными выгодами.

Это «я дал слово императрице» долго и тревожно звучало в наших ушах. Тем более, что оно было повторением другого такого же, но, пожалуй, еще более изменнического по отношению к родине. Вы помните, когда мы остановились в Сан-Стефано у ворот Царьграда? Пришли англичане. Их была горсточка — до смешного перед нашей победоносной армией. Ведь вы сами были там, на месте. И Галлиполи был тоже в наших руках. Мы могли бы эти шесть маленьких мониторов не выпустить из Мраморного моря. Даже Бисмарк дал царю, едва ли не в первый и не в последний раз, искренний, дружеский совет: beati possidentes [41]. Великий князь Николай Николаевич умолял его согласиться на бескровное занятие Константинополя. Армия дрожала от нетерпения — ведь для нее это было бы единственным заслуженным удовольствием за все перенесенное ею. Скобелев из Сфунто-Георгио ночью прискакал к главнокомандующему, предложив ему сейчас же занять город с его дивизией и завтра судить его, генерала, по всей строгости военно-полевых законов, только не отдавать обратно Византии. Весь Петербург, вся Россия ждала этого заключительного аккорда, раз и навсегда решавшего кровавый восточный вопрос… И что же: мне и всем, всем царь упорно повторял одно и то же:

— Я дал королеве Виктории слово.

— Но ведь Англия сама нарушила свои обещания, помогая туркам в эту войну.

— Все равно. Она могла обмануть меня, но русский государь должен держать свое слово!

Горчаков убеждал его, что впоследствии Россия морями народной крови своей заплатит за эту роковую ошибку. Мы все доказывали черным по белому, чем это грозит нам в будущем.

— Да… да… Я сознаю… Все это верно… Вы правы. Разумеется, мы за это поплатимся… Но я дал слово.

Наконец, он согласился и послал главнокомандующему телеграмму. Но прямого провода в армию не было, и с этой высочайшей телеграммой случилось нечто невероятное. Она не дошла до Николая Николаевича. Меня уверяли, что сам Александр ее вернул тайком от нас… Он ведь дал слово!..

— Бывало, окружающие настроят его как следует. Ведь он сам по себе не был ни зол, ни деспотичен, но эти очередные поездки в Эмс — уничтожали всю нашу работу. Великий германский император был — под грубоватою внешностью тяжеловатого солдата — одним из самых лукавых людей. Кровь Фридриха сказалась в этом. Меня, напр., он ненавидел и внушал своему племяннику, что я «слишком русский», это, видите ли, было преступлением в его глазах. Когда это не помогло, он советовал Александру II назначить меня или наместником на Кавказ — лишь бы подальше от Петербурга — или министром народного просвещения и оставил меня в покое, получив от царя категорическое: «Я могу переместить Милютина только на пост государственного канцлера и министра иностранных дел».

Это уж, разумеется, не входило в виды Вильгельма. Он со своими немцами уже работал, выдвигая Ламсдорфов, Гирсов и tutti quanti [42].

А, говоря правду, Милютин в министерстве иностранных дел был бы гораздо более на месте.

— На Александра II трудно было угодить. Его не так озабочивали крупные события, как выводили из себя мелкие, на которые другой не обратил бы никакого внимания. Я помню, на одном из дворцовых балов капитан граф Келлер обратил на себя внимание государя. Граф носил маленькую Henri IV бородку, и очень щеголял ею. Половина ее была совсем серебряная, а другая — русая. К молодому офицеру генерального штаба это очень шло. Александр II шел мимо с дамой, которою интересовался, — кажется, англичанкой. Он в этом отношении был очень слаб. Злые языки под сурдинку называли его «Августейшая беда от нежного сердца». Его дама залюбовалась бородою Келлера. Этого было совершенно достаточно, чтобы царь, проходя мимо, заметил: «У тебя бороденка в два цвета? Где ты ее взял?» — и нахмурился. Келлер, впоследствии отличный боевой начальник штаба и потом генерал, показал себя еще лучшим придворным. Не выходя из Зимнего дворца, сбежал вниз к приятелю, приказал подать себе бритвенный прибор и… бороду прочь. Вернулся, как ни в чем не бывало, и постарался попасться опять на глаза его величеству.

— Это ты, Келлер?

— Так точно, ваше императорское величество.

Пауза. На лице у государя улыбка.

— Поздравляю тебя моим флигель-адъютантом.

Как-то в Царском Селе. Выходит государь с собакой. Мимо гвардейский офицер, под руку с дамой. Так бы царь не обратил на него внимания, но собаке он почему-то понравился — она ему лапы на плечи. Штабс-капитан и не думал встретить императора

в неурочный час и гулял по парку без сабли.

— Поди сюда… Ты почему не по форме?

Разумеется, вместо ответа ряд междометий.

— Твоя жена?

— Виноват! — наконец нашелся офицер, — не заметил.

— Я тебя не о сабле, а о твоей даме.

— Так точно, ваше величество, жена.

— Отправляйся на три дня на гауптвахту. Стыдно гвардейцу показываться таким лодырем. Скажешь, что я тебя прислал. О жене не беспокойся. Сударыня, вашу руку.

И, как истинный рыцарь, довел ее до дому, изумив по пути всех встречных.

Квартира ее была довольно далеко. Вернувшись, он приказал послать ей из своих оранжерей букет великолепных цветов и особых, готовившихся в дворцовых кондитерских, конфет. Дама была прехорошенькая. Когда об этом узнали при дворе, многие бросились знакомиться с нею… но быстро охладели.

— Знаете, она бы себе и мужу могла сделать какую карьеру!

— Ну?

— Всю дорогу, дура этакая, промолчала.

— Дура не дура… Но у нее большой порок. Слишком верна своему поручику.

— Я думаю, и он ее не похвалит. Могла бы попасть «в случай».

Таковы были нравы.

Потом царь встретил этого офицера. Память у всех Романовых на лица была удивительная.

— Ты на меня не сердишься? У тебя милая жена. Цени ее. Таких мало. Когда ее именины?

И в этот день она получила великолепный бриллиантовый браслет с приказанием надеть его на первый же бал в Зимнем дворце.

И потом она получала постоянно приглашения на такие.

У него очень быстро утомлялось внимание. На больших докладах, когда надо было, чтобы он до конца выслушал какой-нибудь особенно важный, Милютин радовался, если при этом присутствовал Суворов или Рылеев. Они отлично рассказывали анекдоты и, посмявшись, Александр опять делался внимателен, хоть и говорил светлейшему:

— Молчи, ты мешаешь Димитрию Алексеевичу. Он ведь строгий.

Он часто менял свои мнения, но никогда не подозрительное отношение к тем, кто, как ему казалось, был к нему враждебно настроен или не умел ярко выразить своей преданности. В

Александре II было нечто женское: он хотел всем нравиться. Он не терпел критики и еще более — равнодушия. Восторги, встречавшие всюду его появление после варварской и мрачной эпохи Николая I, испортили его на всю жизнь. Он привык быть идолом. Не идеалом, для такой претензии он был слишком умен, но именно идолом, овеянным фимиамами, стоящим на цоколе или у вечно пылающего жертвенника, внимающим хоровым молитвам жрецов и народа. Всякая попытка, откуда бы она ни исходила, переместить его с этого неудобного положения в хотя бы и передовые ряды человечества — принималась им как кощунство. На этом играли и выигрывали многие и, разумеется, такой спокойный мыслитель, как Д. А. Милютин, видел все и страдал за своего государя и друга. Он пытался влиять на Александра II в лучшем смысле, но достаточно было появиться кому-нибудь из привилегированных своих придворных немцев или германских, типа Швейница, чтобы все посевы военного министра пропадали бесследно в этой женской душе.

— Был ли он добр?

Милютин с удивлением посмотрел на меня.

— Разумеется, нет. Обаятелен, когда хотел завоевать кого-нибудь, кем он почему-нибудь дорожил, но добр, нет! Слишком сентиментален, чтобы быть добрым.

— Его считали великодушным.

Д. А. задумался.

— Пожалуй, когда он имел дело с людьми ему не неприятными. Вы понимаете, на той высоте, на которой он стоял, довольно было не делать зла, чтобы прослыть великодушным. Совесть его была всегда спокойна. Я видел его после совершенных с его безмолвного согласия казней. Они не оставляли следа в его душе. Во-первых, это казалось ему обязанностью, а во-вторых, вы не забывайте, что, как «помазанник Божий», он не считал себя в ответе ни за что. Все, что ни совершалось, — воля провидения, а он умывал себе руки. Он не так верил в свое помазанничество, как его сын А. III, но ему это было удобно. Ведь люди часто верят именно тому, что им нужно, выгодно и приятно. Что бы он ни делал — причем же он сам? Ведь «сердце царево в руке Божьей». Он унаследовал от своего деда Александра Благословенного наивное коварство считать самые жестокие поступки непониманием его воли. Иначе разве он мог бы терпеть Муравьева-Виленского? Разумеется, нет… Но Муравьев был для него оправданием. Я помню, как государь раз при мне говорил:

— Что ж я могу сделать? Я поручил это Муравьеву… Это уж его дело — его и ответ. Не в силах же я все один. И при том я знаю, что он мне предан.

Это «он мне предан» оправдывало все.

— Оставьте его, он мне предан… Не трогайте N. N. - он меня любит. Что про Х. Х. ни говорите, но я убежден, что могу на него положиться… Он такой приятный человек.

В преданности Муравьева он, разумеется, глубоко ошибался.

Свирепый, беспощадный, прямолинейный Муравьев был слишком умен, чтобы не видеть насквозь чувствительного на словах императора, которому хотелось все ужасы его правления свалить на широкие плечи виленского герцога Альбы. Царь-де тут ни при чем. Нужно же доверять своим слугам. Они ведь не поняли его воли.

— Мне Муравьев рассказывал сам, что царь отменял смертные казни после того, как они по его расчету совершались. Таким образом, его величество в глазах полек, умолявших его о пощаде, оставался чист, а Муравьев-Вешатель делался еще гнуснее. В Вильно поэтому стало общим местом: Александр — ангел, а вот Муравьев — сатана, обманывающий его и творящий зло без ведома государя. Как-то, узнав, что красавица-полька, кажется, — может быть, я путаю фамилию — Свянторжецкая помчалась в Петербург кинуться к ногам царя и вымолить у него прощение осужденному на виселицу отцу, Муравьев слукавил. Задержал казнь на несколько дней. Александр II со своей обольстительной улыбкой принял Свянторжецкую не сразу, а через два дня после ее приезда. Когда она упала перед ним на колени, он ее поднял; обласкал, обещал все и при ней послал Муравьеву телеграмму: объявить Свянторжецкому полное помилование.

— Я, — продолжал Муравьев, — немедленно освободил арестованного и ответил: воля вашего императорского величества исполнена, — Свянторжецкий выпущен, ему выдан заграничный паспорт и сегодня он выехал во Францию.

Государь остался недоволен.

— Черт знает, что делается со стариком. То он безбожно спешит, то делается забывчив и медлит.

— И все-таки я любил его и до сих пор благоговею перед его памятью, — закончил Милютин последнюю нашу беседу. — Ни один царь после Петра не сдвинул так Россию с реакционного пути восточной деспотии, как Александр II. Я помню, мы вместе были молоды. Тогда он кипел, работал, был великодушен, верил людям. О, если бы он и в старости остался таким! Какую блестящую эпоху внес бы он в нашу отечественную историю. Его мечты, я до сих пор без слез не могу думать о них. Целые вечера, когда он был наследником, мы проводили вместе. В нашем воображении вся Россия покрывалась школами, гимназиями,

университетами. Грамотный, свободный народ в раскрепощенном государстве! А потом? Его испортил двор, который как пчелиное гнездо дает мед одним и жалит других. Двор и, главное, немцы. Я иногда рассчитывал, не выгоднее ли было бы России раз навсегда отделаться от прибалтийских провинций. Все упорное, злое, тупоумное, низкопоклонное шло оттуда. И главное — мы все смотрим врозь, каждый за себя, а они в куче и в унисон. В нашей разноголосице балтийский согласный хор доминировал…

— Его испортила неограниченная власть, такое уж это скверное ремесло… Государственный человек должен быть готов к неблагодарности одних и равнодушию других. Судить нелицеприятно будут потомки, на современников надеяться нечего. Выстрел Каракозова перевернул Александра II. Он никак не мог понять, что благородные, высокие замыслы не должны колебаться от случайностей.

Солнце уже опускалось… Над розовевшей Адриатикой наметилась аметистовая кайма итальянских берегов. Лицом на восток Бриндизи, плоскокровельный и белый, казался уголком, выхваченным из мусульманской дали. Оттуда на нас шло громадное океанское чудище — пароход в Индию. На палубе его играл оркестр… Мы отличили германский флаг.

— Вот наши наследники! — с горечью окончил Милютин.

— Все, что разроняли и разбросали мы, — подберут они. И дай Бог, чтобы только этим закончились наши злоключения. Александр II, о котором мы с вами проговорили весь день, свел счеты с Австрией, позволив ее разгромить под Кенигрецом и Садовой, и с Францией в 1870 г. Это было местью первой за «величие ее неблагодарности» и второй за Севастополь, а, в сущности, он действовал, как немецкий приказчик. Мы с вами, может быть, не доживем, но наши дети увидят, какого беспощадного врага мы вырастили в облагодетельствованной нами Пруссии.

Он не увидел.

Но я остался свидетелем того, что Милютин был не только большой государственный человек, но и дальновидный пророк. Но он не угадал в мрачной дали надвигавшихся на Россию туч, что вместе с Вильгельмом — рука в руку пойдут против своей истекающей кровью матери-родины и наша трусость, и наше подлое предательство…

И еще одно упустил он.

Великую Англию и латинский запад. Эти воспользовались безумием ослепленного своим могуществом германского императора, не рассчитавшего, что и без этой варварской,

истребительной войны — весь восток стал бы данником его торговой и промышленной тевтонской вотчины. Защищаясь, они нанесли ему и ей страшный удар… Удар не только по сегодняшней силе, но и по всей злой монархической стари. Как это ни странно — но абсолютизм был убит хищною жадностью последнего Гогенцоллерна, наиболее монархического изо всех монархов… В истории мистическая справедливость. Она карает великих преступников и тернистыми путями ведет их народы через Голгофы к негаданным воскрешениям свободы и братства.

Но…

Ведь каждая война есть кровавый посев на более или менее далекое будущее…

Величайший физический закон — «угол падения равен углу отражения» — одинаково существует и в судьбах ничего не забывающего и ничего не прощающего человечества. И я радуюсь тому, что одною ногою уже стою в могиле. Я не увижу реванша, которым ответит восстановившая свои неисчислимые силы Германия европейскому западу и востоку, как в 1918 г. ответила ей Франция за 1870 г… Свобода народов не есть их братство. Они часто сплетаются вместе, чтобы сейчас же расплестись и еще дальше отбросить их одни от других. Святые лозунги красных знамен — овеянных восторгом сегодняшних победителей — завтра они поблекнут вместе с этими знаменами, и народное брюхо опять станет повелительнее народного сердца… Искра мести тлеет в памяти побежденных… Первый ветер со стороны — раздует ее в нежданное пожарище и опять охватит дымом и угаром несчастное человечество. Война — вечна, как вечно наряду с добром — злое чудовище вражды и эгоизма…

Старость — нелицеприятный судья прошлого над настоящим.

И потому я в семьдесят пятую годовщину моей жизни не радуюсь сегодняшней победе права… Отраженная волна отхлынула далеко, но она клубит там свои усталые воды. Они соединяются с другими, долго в покое и тишине копившими свою стихийную силу… В час, определенный нарушенным равновесием, опять подует грозный ветер и нежданно поднимется гневный, оперенный пеной и молниями, первый вал отмщения и возмездия…

Только тогда, когда победители будут великодушны и сами залечат язвы побежденных, новая розовая заря поднимется над человечеством… Но такого чуда ни Будда, ни Кришна, ни Христос сделать не могли. Воинственный и жестокий Аллах Магомета и Ягве Моисея — так же вечны, как всепрощающий Бог галилейского мечтателя… И едва ли Карл Маркс в этом случае будет счастливее распятого царя иудейского…

Памятка о неугасимой лампаде (Ф. Ф. Фидлер)

В громадном пожарище, охватившем Россию, незаметно погасла казавшаяся еще недавно яркой «лампада перед иконою русской литературы».

Так А. П. Чехов называл Ф. Ф. Фидлера, благоговевшего перед нашими писателями, переводившего почти всех отечественных поэтов — и больших, и малых — на немецкий язык, причем эти переводы порою не только не уступали подлиннику, но, случалось, превосходили его. Мало-мальски заметное лирическое стихотворение, затерявшееся в печатной макулатуре, скромный цветок, спрятавшийся в бурьяне, — бездыханный, то есть безымянный, — останавливал его внимание. В этом — он был необыкновенно чуток и проходил мимо только наглости и крикливой самодовольной посредственности. Стоило выступить начинающему поэту, загореться искорке настоящего дарования, да не в вышедшей книге, а где-нибудь на задворках захудалого журнала, на затычке маленькой газетки, Фидлер уже верхним чутьем (и нос у него на это был особый, немецкий, большой, точно обнюхивающий издали!) ловил его, и не успокаивался, пока не приводил к себе в свою скромную квартиру на Николаевской… Трудно себе представить ту страстную любовь, которою всю трудовую и короткую жизнь горел к нашим художникам слова покойный. Все, что касалось их, он собирал с религиозным чувством. Переписка, часто незначительная, а иногда освещавшая целые эпохи русской печати, воспоминания, вскользь набросанные заметки, портреты, карикатуры, признания — считались тысячами в его богатейшем архиве. Я помню, как-то сижу у себя и рву старые рукописи. Входит Фидлер.

— Ты что это делаешь?

— Видишь.

— Оригиналы, да? Ты с ума сошел!

А у самого ужас на лице.

— Вандал… варвар… дикарь!

Бросился к корзине, собрал все лоскутки, отнял у меня необорванное еще. Уложил в портфель. Через несколько дней захожу к нему — и вижу: все эти лохмотья (мы пишем на одной стороне бумаги) подобраны, один к одному наклеены.

— Всю ночь не спал. До десяти утра работал. Тут два пустых места… Вот карандаш, видишь, — впиши, что недостает.

А внизу с германскою аккуратностью: отнято у Немировича-

Данченко Василия (род. 25 декабря 1844 г., умер…) в его квартире на Адмиралт. Наб. дом № 6, вход с Чернышева переулка.

В другой раз — он зашел к покойному И. Л. Щеглову. Тот сидел у печки и жег свои рукописи.

Щеглов рассказывал мне:

— Я даже перепугался. Лапами прямо в огонь, обжегся и вытащил еще недогоревшее. Спрашивает: «Что это?» Объясняю ему — наброски романа, который никогда не был напечатан. Ведь, поверишь, — заплакал. Едва я его бутылкой коньяку привел в себя… И то он продолжал чертыхаться и ушел, взяв с меня клятвенное обещание восстановить сожженные места. А пепел — в конверт и написал сверху: «Такого-то числа, года И. Л. Щеглов по свойственной русским писателям невежественности собственноручно бросил в огонь… да простит ему Феб-Аполлон этот смертный грех».

Он как-то засиделся у меня; был второй час ночи. Не помню, кто — едва ли не Влад. Алекс. Тихонов — сообщил: «Был сегодня у Далматова. Он разбирал переписку с писателями. Откладывал, что истребить, что сохранить». Федор Федорович вдруг вскочил и начал прощаться. Мы знали, что утром у него начинаются рано лекции в женском институте, и не удерживали. Затем следует рассказ В. П. Далматова.

— Послушай, что, твой Фидлер совсем спятил?

— А что?

— Да как же! Я играл третьего дня в Панаевском театре… И знаешь… Привез оттуда к себе… Одну… Ну, понимаешь сам… И вдруг ночью — звонок… Да ведь какой! Пока мой человек встал — все трещит. Ни на секунду не останавливается. Я, правду сказать, струсил. Думаю, не обыск ли — а у меня дама. Она тоже с перепугу в шкаф… Выхожу — этот твой долбонос Федор Федорович. Спрашиваю: «Что случилось?» — «Сейчас у Немировича рассказывал Тихонов, что вы, Василий Пантелеймонович, собираетесь уничтожить письма писателей». Я взбесился. «Вам, говорю, какое дело». — «Как какое! — вскакивает. — Да что вы маленький Омар, что ли!» Ничего не пойму. Правда, за обедом был у меня соус из омаров. Таращусь на него. Думаю, он сошел с ума или мне снится. «Ведь вы то же самое повторить собираетесь. Вам ни в этой, ни в той жизни история русской литературы не простит». — «Постойте, — ору на него, — какой Омар?» — «А халиф, который Александрийскую библиотеку Птоломеев сжег!!» И ведь не ушел, пока я ему не открыл письменный стол и не отдал пачку писем. Там и твои есть, и Маслова (Бежецкого), и Гнедича, и Суворина. Так он еще

спрашивает: «А вон в этом шкапу — ничего нет?» Не прогони я его — он бы все мои сундуки обшарил. У меня в передней подзеркальный ящик. Провожаю я его — он мне: «Можно?» — «Что можно?» — «Да в этот ящик…» — «Там мои старые шляпы». Посмотрел, убедился… Вздохнул и наконец убрался… Я скорей к даме — а та уже оделась. «Милая, куда вы?» — «Нет, уж довольно. Прощайте… Это свинство. И никак я от вас такого страха не ожидала!» И как бомба вылетела. Слушать ничего не хотела. Да я тебе забыл еще. Уже в дверях Филлер останавливается, вынимает серенькую книжку. Подает карандаш: «Впишите что-нибудь». Должен был какой-то глупый экспромт ему туда…

Он был неразлучен с этими маленькими серенькими альбомчиками, от которых, случалось, наша пишущая братия бегала, как черти от ладана. Потому что с Ф. Ф. нельзя было встретиться — ни на улице, ни в лавке, ни на панихиде по какому-нибудь литератору, — чтобы немедленно перед вами на столе, на прилавке, на скамейке, на свечном ящике не оказывался такой серенький альбомчик. И при нем карандаш.

— Пиши.

— Что хочешь.

И ни крестом, ни постом бывало от него не отделаешься, пока не набросаешь афоризма, стихов или просто «Господи, убей громом Фидлера, а то от него никакой твоей твари спасения нет»…

Особенно покойный любил вечера у Лукашевич-Хмызниковой и у других, у кого собиралась вся тогдашняя «действующая» беллетристика. Он на такие являлся весь нагруженный серенькими альбомчиками. Бесцветными глазами — фиалки в молоке — он намечал жертву, подходил сбоку, брал под руку, усаживал за стол; вручал серенький альбомчик и кратко и выразительно просил:

— Что-нибудь…

Некоторые, как покойник Мамин-Сибиряк, доходили до бешенства.

— Уйди, Федор… Убью.

Рычал он на него, вращая своими удивительными громадными глазами.

— Потом — убей, а сначала напиши.

— Ведь — обругаю тебя.

— Ничего — только свою фамилию внизу, число и где.

— Нет, убью сначала, а потом эпитафию о тебе.

Триэф, как я его прозвал (Фед. Фед. Фидлер), брал со стола нож.

— Вот тебе — только экспромт.

Не могу забыть, как он поймал Владимира Соловьева, ежившегося под дождем в какой-то подбитой собачьим лаем крылатке и ценою предложенного тому зонтика заставил его тут же под этим зонтиком написать ему что-то в альбом.

Не могу вспомнить, чей юбилей или свадьбу мы праздновали в Кононовской зале. Только Фидлер проплясал кэк-уок, потому что иначе ему, кажется, Л. Б. Яворская не соглашалась ничего вписать в эти неизбежные святцы. Но настоящей жатвой для его сереньких альбомчиков были именно эти литературные поминки-юбилеи. Тут Ф. Ф. - являлся гордо, во всеоружии, в сознании полных своих прав на наши экспромты, таким триумфатором, что Дм. Нарк. Мамин как-то предложил ему надеть на себя абажур, а то вся публика ослепнет.

Десятки тысяч таких страниц наполнены шутками, автографами, стихами, парадоксами, беглыми мыслями, случалось, вдохновенными и яркими тирадами большой интимности и искренности. Не успевало вылететь чье-нибудь крылатое слово, остроумное сравнение, афоризм, как из-за спины протягивалась рука с сереньким альбомом и слышалось повелительное: напиши! Позволяю себе думать, что для биографий наших больших и малых писателей, богов и божков — эти странички важнее скучных и нудных памяток, которые друзья пишут о своих мертвых товарищах.

Сам Фидлер с аккуратностью образцового аптекаря вел дневник о встречах и беседах с нашим писательским миром. Каждый вечер, прежде чем лечь в постель, он записывал все, что ему казалось интересным или метким в своих разговорах с нами. Вся эта летопись — на немецком языке. Он рассчитывал впоследствии издать ее, когда нас уже не будет. Но увы — нам пришлось его самого провожать в раннюю могилу. Эти дневники чуть не за двадцать пять лет — истинные сокровища для закулисной истории русской печати. Нужна была его феноменальная память, чтобы удержать в ней до вечера малейшую деталь. Тут были памятки не об одних художественных и культурных течениях. Целые главы — интимной жизни, где наш мирок выступал так выпукло и красочно, как ни в одной монографии. Случалось, и сам забудешь яркое сравнение, остроумный экспромт, определение, вырвавшееся случайно, и вдруг через несколько лет Триэф напомнит:

… - А вот в таком-то году и месяце, кажется, такого-то числа ты иначе думал.

И в наличности оказывалась подлинная цитата — слово в слово.

В этом отношении нашего общего друга напоминал отчасти

Сергеенко.

Как-то заговорили об искусственных выкидышах. Один из писателей возмущался ими, и совершенно неожиданно биограф Л. Толстого:

— Значить, вы теперь переменили свое мнение.

— ?

— Тринадцать лет назад — (угрожающе) у меня все записано! — вы оправдывали это.

— Ах черт возьми! — Слишком поздно соображаешь, что не только карманы, но и язык надо иногда застегивать на все пуговицы.

Наш общий друг устраивал обеды беллетристов и писателей.

Они начались по почину Чехова, Гнедича и моему. Потом — все взял в свои руки Фидлер и, разумеется, сейчас же открыл двери всем без разбора — лишь бы скорей заполнять свои серенькие книжки. Думаю, что этому надо приписать быстрое прекращение таких собраний, особенно, когда они от Донона — перебрались к Панкину и в Малый Ярославец. Эти брали нисколько не дешевле Донона, — но Фидлер поставил наши трапезы на демократическую ногу, потому что товарищи в косоворотках и чудища костромских лесов воротили носы от хороших ресторанов. Фидлер был непременным членом всех литературных учреждений, кружков и обществ. Едва ли за все время их существования он пропустил хоть одно заседание или даже опоздал на какое-нибудь самое скучное и незначительное. Особенно он любил устраивать юбилеи. Мне в большой минус он ставил, что, проработав (до его смерти) пятьдесят три года — я ни разу не отпраздновал своего юбилея.

— Подумай… ты мог бы уже сколько, постой: 10-летний, 15-летний, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Девять юбилеев. Ты понимаешь, девять юбилеев справить! Девять юбилеев! Все справляют, а ты что за цаца? Раз было я без тебя все устроил: сорокалетний! А кто-то тебе проговорился, ты взял заграничный паспорт и удрал в Венецию…

Я ему объяснил, почему я, с удовольствием участвуя в таких у товарищей, своего допустить не хочу. Он внимательно выслушал — и сейчас же серенький альбомчик на стол.

— Пиши…

— Что?

— А вот, что ты сейчас… Постой, я вверху помечу: мнение В. И. Н. Д. о своем юбилее.

На этих юбилеях Фидлер любил выступать с остроумными характеристиками писателя или приветствиями ему, составленными из названий его повестей, рассказов, романов.

Кропотливая, истинно немецкая работа, от которой порою пахло потом.

Его квартира — была настоящим литературным музеем. Вы не могли вспомнить ни одного писателя, ни крупного, ни мелкого, чей портрет или бюст — первый непременно с автографом или посвящением — не занимал бы своего места на стене, на шкафу, на этажерке. Целая галерея карикатур значилась тут же. В папках, в ящиках фотографии — сколько бы то раз, где бы то ни было, как бы вы ни снимались — все равно, гравюры с вас, помещавшиеся в каких бы то ни было журналах, десятки папок с приведенными в самый аптекарский порядок письмами писателей, помеченными, когда, кому, откуда и по какому случаю. В целом мире не было другой такой коллекции — и, разумеется, живи Триэф не в России — он бы сделался настоящею знаменитостью среди коллекционеров. Его музей посещался бы тысячами людей, город или академия отвели ему бы громадные залы… Но, увы, наш общий друг имел злополучие родиться и работать, чего греха таить, в варварской России… Кто теперь вспоминает его декабрьский праздник, кажется, четвертого, когда к нему собиралась вся русская печать? Приходили званые и незваные. От наших корифеев до незаметного репортера… Эта была своеобразная живая выставка наличных сил печати. На свои крохотные средства Ф. Ф. ухитрялся хоть раз в год — накормить и напоить всех, именно всех без исключения. Более близкие и интимные друзья собирались к нему сверх того каждое воскресенье на интимный пирог с капустой и на Калинкинское пиво.

А средства у него были действительно крошечные, но он ухитрялся жить без долгов… это был человек честности кристальной. Сколько раз, бывало, зная, что он попал в безвыходное положение, предлагаешь ему деньги.

— Ни за что, ни под каким видом.

Как-то, впрочем — его захлестнула мертвая петля.

Бедная жена его — не подымавшаяся уже с кресла, скорченная каким-то особым видом паралича, нуждалась в каком-то особенно дорогом средстве. По дороге домой он зашел ко мне на Николаевскую, бледный и растерянный.

— Что с тобою?

Рассказывает.

Я ему силой навязал деньги.

Не прошло получасу — звонок.

Прислуга отворяет. Фидлер! Сунул ей в руки конверт и опрометью с лестницы.

В конверте — вся сумма, которую он у меня занял.

«Извини, писал он, но я никак не могу взять ее… Скорее, чем у кого-нибудь, я занял у тебя, но это против моих правил…»

Насколько я знаю — он никогда не пользовался ссудами ни из Литературного фонда, ни из кассы взаимопомощи…

Когда я уезжал заграницу — он и тогда не оставлял меня в покое. То и дело я получал от него открытки, требовавшие ответа. Больше, чем на открытки, он не претендовал. Они ему нужны были для обогащения коллекций писательских автографов. Я помню его жалобу на Мамина-Сибиряка и Скабичевского.

— Ухали в Крым к Тихомирову есть чебуреки и любоваться кипарисами… И хоть бы одну открытку.

Все, что связано было с тем или другим писателем, — являлось для него реликвией. Я привез ему засушенные цветы, сорванные у памятника Герцена в Ницце. Ф. Ф. пришел в восторг и бросился меня целовать.

Но самою обильною его жатвой были его именины, 4 декабря, которые, лютеранин, он праздновал непременно по-русски. Все посетители приносили ему писательские письма, и Фидлер ходил в восторженном состоянии.

Это был человек большой души.

В семье — он не был счастлив.

У него была чудесная жена. Брак по любви. Она — его ученица, он — ее профессор в институте. Все для долгой и покойной радости, но я уже упоминал о ее недуге, приковавшем эту милую женщину к ее креслу — на долгие, долгие годы. Надо было видеть, каким вниманием Ф. Ф. окружал ее. Каждое желание, каких бы жертв оно ни требовало, исполнялось им немедленно. Какие только врачи ни приглашались к ее живому трупу со скрученными пальцами, которые она делала тщетные усилия подать вам. Фельдман пробовал над ней гипноз. Приглашали других чародеев. Ничего не помогало. Неотступно, шаг за шагом, недуг делал свое, отнимая у нее клочок за клочком все тело, и оставлял только ясность сознания, которому, увы, уже с трудом повиновался язык. Дочь и он самоотверженно ходили за нею. Бывало, сидишь в его кабинете. Он вдруг срывается:

— Пойдем к жене: ей, бедной, скучно.

Он не долго пережил ее!..

Его значение в литературе было вовсе не так мало, как думают.

Великолепный переводчик русских поэтов, превосходными немецкими стихами, выпукло и ярко передававшими характер и особенности автора, он напечатал множество маленьких книжек в Лейпциге, по которым германский читатель знакомился с нашей литературой. Пушкин, Лермонтов, Майков, Фет, Кольцов,

Некрасов, Тютчев, Надсон и десятки других переданы им в их лучших произведениях. Сверх того, он всех мало-мальски заметных поэтов наших печатал в Петроградских немецких газетах. Сам он смотрел на этот труд, как на памятник по себе, который он оставит во всемирной литературе. Но увы — российскому Боденштедту не так повезло, как его германскому собрату. Тот находил издателей. Фидлер, приготовивший громадный том чуть ли не в тысячу страниц антологии русского изящного слова, тщетно искал в Германии охотников рискнуть даже сравнительно небольшими деньгами на такое предприятие. Вся эта гигантская работа осталась у него на руках. Где она теперь? Уцелела ли она или нет? Мы его считали посланником немецкой словесности при русской литературе, немцы — таким же русской литературы при немецкой. Положение почетное. И Брандес, и все отдавали ему справедливость, но, увы, бездарный, портивший и обесцвечивавший все, чего он ни касался, П. И. Вейнберг гораздо более снял пенок с обеих литератур, чем добросовестный, точный и талантливый Фидлер. Я помню, с каким он бешенством прибежал ко мне:

— Ты видел первый том переводов П. И. Вейнберга Генриха Гейне?

— Нет. А что?

— Полюбуйся на эти образчики. Помнишь, у Гейне: когда я вижу красивую женщину — я гораздо больше наслаждаюсь «о, чем дурак, обладающий ею, во всю свою жизнь (не ручаюсь, так ли я передал!). Ну, теперь читай у почетного академика: я расплываюсь в мелодиях лица ее… Это еще ничего, дальше: и через каждый взгляд своего глаза получаю больше наслаждения, чем другие со всеми своими членами, в продолжение всей своей жизни… хорошо!..»

Я расхохотался.

— Нет, ты подожди. А вот чудесные стихи: «Здесь царем дитя-пастух»… дальше: коровы, вот тут: «Позвонки их гоф-капелла». Не звонки, а позвонки… Позвоночный столб!.. Ну, а это? Наизусть знаешь: ты знаешь ли край, где лимонные рощи цветут, где в ярких листах померанец, как золото, зреет? У почетного академика:

Ты знаешь ли страну, где померанц цветет?..

А? И ведь есть превосходные переводы М. И. Михайлова. Зачем Марксу Вейнберг понадобился?..

— Ну тебе-то что? Почему ты несчастен от этого?

— Мне? Да ведь это Генрих Гейне! Пойми. Оскорбление величества, святотатство. Генрих Гейне!..

Долго после того мы П. И. Вейнберга иначе не называли, как

«померанц».

Лекции Ф. Ф. очень были популярны у его слушательниц.

Особенно, когда предметами их были немецкие поэты. Фидлер выходил из-за кафедры, весь восторг и вдохновение. Он мастерски читал и тонко комментировал.

— Потом, — мне рассказывала одна, — мы перечитывали сами и они нам далеко не так нравились.

Не мудрено, что воспитанницы влюблялись в него, хотя он, надо сказать правду, ничего общего не имел с красотою. Природа нашего милого общего друга очень обидела в этом отношении!

Сложись иначе его семейная жизнь, может быть, Ф. Ф. и до сих пор был бы между нами. Милая, больная жена, на страдания которой он не мог равнодушно смотреть, — была его крестом, который он вместе со своей дочерью безропотно нес до ее могилы. Но человек не может жить одною печалью. Он отводил душу в дружеских скромных встречах, где дешевого вина и еще более дешевого пива было — хоть облейся, и это точило и разрушало его крепкую, на сарептских хлебах выросшую, натуру. А тут еще война — война с Германией! Сын сарептского колониста, он не мог забыть, что он прежде всего немец и в то же время он горячо любил Россию. Фидлер, как и многие русские немцы, раздваивался в эту тяжкую для нас всех годину. Когда я приезжал с фронта — он со страстным желанием узнать правду бежал ко мне: неужели немцы — немцы Гете и Шиллера, философов-гуманистов, великих ученых — действительно повинны в ужасах, только частью проникавших в русскую печать, потому что военные цензоры, вроде Тунцельмана фон Адлерфлюка и других истинно русских людей, старательно вычеркивали из наших писем все, что рисовало наших врагов в непривлекательном свете. Объясняли это они тем, что надо беречь нервы нашего солдата, который, разумеется, видел больше того, о чем мы писали. И когда я подтверждал доходившие к Филлеру слухи — он мрачно уходил домой, чувствуя себя поистине несчастным.

А тут еще…

Я не могу без тяжелого чувства перейти к этой части моих воспоминаний… Придется ударить по совести моих товарищей, к которым, ценя их талант и сердце, я всегда относился и отношусь с величайшим уважением. Война с немцами совершенно перевернула их. Они вдруг возненавидели весь этот народ, да не только зарубежный, но и ту его часть, которая давно поселилась у нас и сжилась с нами. Бедному Фидлеру прежде всего пришлось на себе испытать эту перемену отношений.

Как-то он пришел ко мне. На нем лица не было. Сел в кресло.

Схватился за голову и вдруг разрыдался.

— Что с тобой?

— Как — ты еще по-прежнему на «ты» с немецким шпионом?

— Федор, ты с ума сошел?

— Да… Я немецкий шпион… ты слышал это? Нет? Так услышишь… Человек, с которым я четверть века на «ты», один из моих самых близких друзей, отказался мне подать руку, потому что я, Федор Федорович Фидлер, немецкий шпион. Жене другого я как-то сказал: не забывайте, что вы все-таки немка, не можем же мы вытравить из души любовь к нашему народу, — и ее муж, тоже мой друг, с ним я тоже на «ты», выгнал ее из дому, а меня тоже объявил во всеуслышание предателем… Ах, как тяжело… Как тяжело!..

Мне едва удалось привести его в себя!

Так он и доживал эту войну, злополучную, разорвавшую столько дружб, добрых отношений, создавшую кругом такую злобу, подозрительность, шушуканье по углам, клевету за спиною и враждебные взгляды при встрече.

— Б** мне не подал руки, когда к нему я бросился с открытой душой… Р** повернулся ко мне, смерил меня с ног до головы и процедил сквозь зубы: мы больше не знакомы.

И действительно, на обычном вечере у Клавдии Владимировны Лукашевич я сам видел, как одиноко чувствовал себя Федор Федорович в кружке своих вчерашних друзей… Куда он ни подходил — вокруг него сейчас же образовывалась пустота.

— Ты видишь… Я зачумленный.

И из самолюбия он начинал говорить особенно громко, с подъемом деланным и неприятно поражавшим нас всех, искренно любивших его. Он точно вызов бросал своим вчерашним друзьям. И, увы, на этот раз с ним не было даже его серенького альбомчика.

Он умирал тяжело и почти одиноко.

Болезнь длилась без конца. То она его отпускала немного, и из Мариинской больницы он уходил к знакомым, где по нашей русской распущенности его опять поили и вином, и пивом… Характера отказаться у него не было — и он глотал этот яд, убийственный для его недуга. Я несколько раз был у него в маленькой белой больничной комнате. Его там отлично кормили и внимательно лечили, но привыкшему к шуму и кутерьме литературных кружков — Филлеру было тоскливо в этой тишине и, главное, в одиночестве.

— Все меня забыли, все… Еще Булацель заходит… А то никого… Никогда… Да, впрочем, что же я! Ведь я немец… А немец, значит, шпион…

И этот чистый, кристальный человек глубоко страдал в вынужденном покое больничного обихода.

Он умер — и никто из нас не знал об этом.

Над Россией носились громы внезапно разразившейся революции. Начиналась искупительная страда великого народа, повинного в целых веках терпеливого рабства. В бешенстве возмущенных стихий, где история молниями во мраке писала свои неумолимые приговоры и, казалось, внимая им, трепетала земля от полюса до полюса — кому была заметна смерть «общего друга» нашей печати! До сих пор ни одни литературные похороны не обходились без Ф. Ф. Филлера. Он первый шел за гробом писателя и последним уходил с кладбища, не пропускал ни панихид, ни поминок. За его бедным прахом, кроме двух-трех, случайно узнавших о смерти скромного труженика, не следовало никого. В эти дни газеты не выходили, и я только через несколько дней узнал о том, что моего старого приятеля не стало.

Через сорок дней в воскресенье во Владимирской церкви были его сорокадневные поминки. Об этом уже объявили. Я пошел туда. Думал встретить там хоть половину тех, кто собирался к нему 4 декабря на обычные литературные смотрины и ужины. Особенно его друзей, хотя бы тех, кому он так усердно устраивал юбилеи, сборы, адреса… Увы! Кроме почтенного С. А. Венгерова, А. Е. Кауфмана, Елисеева, Кл. Вл. Лукашевич, Луговой — никто не пришел на эту панихиду. Мы видели печальные глаза его дочери. Оглядываясь, она, как мне казалось, думала: А ведь эти дни были сбором всей русской литературы у отца. Куда же делась вся эта русская литература?

Скромная, незаметная смерть, и какой в ней трагизм: Ф. Ф. всю жизнь верил в грядущую русскую свободу, молился надвигавшейся революции, которая должна будет раскрепостить все народы от позорных кандалов правового рабства… И — смежил глаза в канун ее торжественного победного набата.

Так потухла неугасимая лампада перед иконою нашей литературы.

Не герой (Воспоминания на кладбищах русской печати) (О.Е. Нотович)

Благодарность современников и суд потомства.

Я думаю, одною из самых трагических фигур в русской журналистике, несмотря на сравнительную незначительность, за последнюю четверть века был Осип Константинович Нотович. Над маркизом Оквичем и его «немножко философии» можно смеяться, но нельзя забывать, что в течение многих, особенно тяжких, лет он стоял во главе большой и по тому времени либеральной газеты, в которой работали самые выдающиеся наши журналисты. Сколько изворотливости и часто хитрости надо было ему иметь, чтобы изворачиваться в таких условиях, в каких бесследно гибли десятки других, быть может, и более почтенных изданий. Ни одно опасное поморье не представляет таких подводных рифов, скал и бурунов — какие встречали злополучную отечественную печать во все дни ее живота. Это было обычною обстановкой тогдашней газеты, но, сверх затруднений ее обычного плавания, на нее то и дело налетали негаданные смерчи оттуда, откуда никто их и предвидеть не мог. Кто только не дубасил ее и в хвост, и в голову! Каждый заведомый мерзавец и негодяй, случайно занявший более или менее важный пост, прежде всего заботился, как бы плотнее отгородиться от общественного мнения и его выразителя — печатного листка. Тут было все кстати: и секретные инструкции, и незаконные изъятия, и ножи в спину из-за угла. Итальянским средневековым спадассинам и в голову не приходило того разнообразия убийственных западней, капканов, ночных налетов и всевозможных хватаний за горло, которые в эту мрачную пору Александра III никого не удивляли и даже в нашей журналистике не вызывали никакого протеста. Дело было простое и обычное, и если бы не всемогущая, спасительная взятка — едва ли добрая половина тогдашних периодических изданий могла уцелеть. Именно дореформенная взятка, свившая себе гнезда в главном управлении по делам печати и во всевозможных цензурных комитетах. Это была застраховка литературы, не исключавшая, впрочем, возможности вдохновенных перунов, разивших писателя и его работу с высоты не только министерских кресел, но и скромных столоначальнических стульев. Не смешно ли (нам приходилось не смеяться, а плакать), что судьба загнанного и

затравленного периодического издания, случалось, зависела от какого-нибудь участкового пристава, а случалось — и городового. Ведь в сложной административной машине времен Толстых и Победоносцевых каждый был за всех и все за каждого. Я недавно читал чудесную книгу Жоффруа о Бланки. С каким ужасом автор пишет о наполеоновских драконах печати! Да такие у нас были бы лучшими из лучших, чем-то вроде добродушных барбосов на цепи у хорошо питающего их хозяина. Те исключительные явления, о которых он упоминает, — были у нас общим местом, а над этим общим местом гуляла вовсю цензурная нагайка заплечных мастеров вроде Феоктистова, Лонгинова, Соловьева и других их ангелов, имена же их ты, дьяволе, веси.

Вот на какой сковороде приходилось жариться скромному журнальному ершу.

И, право, многое и многое должно простить искалеченному в вечной борьбе с василисками и скорпионами полиции живого слова О. К. Нотовичу. Я помню, как-то вечером его жена Розалия Абрамовна спустилась в редакцию, где я читал корректуру своего рассказа.

— Пожалуйста, подымитесь к нам.

— В чем дело?

— С Осипом что-то неладное.

В большом сумрачном кабинете я застал Нотовича в истерическом припадке. Он и плакал, и потрясал дланями, разя невидимого врага, и предавал кого-то анафеме до седьмого колена.

— Не могу же я, — вопил он, — вырвать сердце и заложить его, чтобы заткнуть эту ненасытную пасть.

— Сердце в залог не примут! — меланхолически и деловито соглашался милый и добродушный Никитин, бросивший писательство, чтобы ведать денежными делами редакции.

Я в первый раз таким образом видел, как взрослый, мало того — уже в почтенном возрасте и с крупным общественным положением человек плачет… Не желаю никому такого зрелища!

Его обвиняли в том, что, получив пять крупных литературных наследств, т. е. подписчиков запрещенных реакционною властью изданий, он не сумел сохранить ни одного. Это несправедливо. Вместе с подписчиками Нотович почти не пользовался подписными суммами. Они были или вполне или большею частью израсходованы прекратившимися газетами. Ему приходилось доводить, на средства одних своих «Новостей», их до конца года в удвоенном и утроенном количестве экземпляров. Сверх того, казненные синклитом четырех министров издания — велись смело, часто, предвидя свою неминуемую кончину, они

бравировали, помещая резкие и непримиримые статьи, главным образом, захватывавшие читателя. Получая «Новости» — он попадал в сравнительно тихие воды, потому что О. К., прежде всего, старался сохранить свою газету до лучших времен, которых этот несчастный редактор так и не дождался. Каждый новый год был не лучшим, а худшим. Грозовые тучи насилия и мракобесия сгущались над приниженною, стлавшеюся по земле печатью, не осмеливавшеюся даже в роковые минуты поднять голову. Ради того, чтобы сберечь «Новости» от бюрократических перунов — издатель шел на всевозможные уступки, надо сказать правду, обезличивая, но не опозорив газету предательством или подлостью. Газетам «Чего изволите» легко было сверкать яркими красками, бесшабашным, подкупающим полуграмотную массу остроумием, шаржем, доходившим до хулиганства. Если бы Нотович рискнул на это — разумеется, на него немедленно обрушился бы паровой молот тогдашней цензуры. Я столько раз видел в редакции корректуры великолепных отповедей, ядовитых, беспощадно вскрывавших всю подоплеку литературной черной сотни, — но, увы, с ними знакомились только мы да наборщики, а Нотович, сначала восхищенно бегавший из угла в угол, вдруг схватывался за голову и помечал эти гранки «к разбору».

Бедняга садился между двумя стульями.

Он задавался целью во что бы то ни стало создать серьезный орган, по-нынешнему — несколько левее кадетского центра, но по газете сейчас же начиналась беспощадная травля. Толстые и Победоносцевы сейчас же принимали соответствующие меры воздействия, Главное управление по делам печати выпускало своих цензурных апашей, и перепуганный Нотович, оправдываясь перед сотрудниками необходимостью оживить «Новости», бросался в сторону бульварного интереса. И в этом, увы, он терпел неудачи. В несколько тяжеловесной редакции газеты не было подходящих наездников, а враждебная печать, выросшая на этом, так подымала его на смех, что оторопевший О. К. опять начинал печатать в отчаянии высокоученые трактаты Модестова и других ученых, по недоразумению вообразивших себя журналистами. Интеллигентный Петербург очень ценил профессорские статьи, но на газету не подписывался.

Нотович вечно боролся с недостатком средств, но за ним не пропало ни одной копейки, заработанной его сотрудниками. Как он изворачивался — мог бы рассказать В. Никитин, о котором я уже упоминал, но он умер, не оставив воспоминаний. А жаль. Они внесли бы не одну трагикомическую страницу в летопись нашей журналистики. Еще пока у Нотовича не было конкурентов — дело кое-как шло. Но банкирские ищейки скоро разнюхали, где пахнет

жареным, — и вот рядом с «Новостями» возникают того же политического направления другие газеты с несравненно большими средствами, развернувшиеся такими махровыми цветами, какие и не снились нашему мудрецу. Участились беспощадные удары со всех сторон. Бедный Нотович и смелый, но замученный и усталый Градовский отбивались, как могли. Остроумный Василевский-буква мог бы отлаяться, но он учитывал всевозможные литературные течения и, сверх того, он был связан еженедельными фельетонами в «Русских Ведомостях», газете академической, широко либеральной, но не допускавшей никакой свистопляски. «Нахмурив лоб, наморщивши чело», смяться неудобно. В. О. Михневич, присяжный фельетонист «Новостей», несмотря на все его плюсы, особенною легкостью в мыслях не отличался… Покойный Владимир Осипович — одна из самых почтенных фигур в нашей повременной печати. Из него, несомненно, выработался бы первоклассный библиофил, добросовестный и талантливый исследователь истории, литературы и наших общественных движений, превосходный практический деятель во всевозможных союзах и предприятиях самозащиты работников печати, но он меньше всего был фельетонистом. Сам Нотович искал всю жизнь людей острого пера и смелой мысли, застрельщиков в литературных боях, так необходимых газете. Но Амфитеатров и Дорошевич — эти два крупнейшие таланта и боевика — писали вне сферы влияния «Новостей», ничего общего с ними не имели. Будь у О. К. средства, которыми впоследствии обладал хитроумный Улисс Проппер, — разумеется, «Новости» выдержали бы и до революции стали прочно на ноги. Но у их редактора-издателя связи с банками если и были, то разве только по учету и переучету векселей, и свои вдохновения в директорских кабинетах этих учреждений он не почерпал. Кто постоянно виделся с О. К., чаще всего наблюдал Некрасовское:

Где бы денег достать, я прочел
На почтенном лице мертвеца…

Я помню, как один из враждебных ему фельетонистов пустил в Нотовича ядовитую стрелу: «Новости»-де издаются на еврейские деньги.

Нотович прочел и горестно воскликнул:

— Если бы! У меня — посмотрите книги, я велю открыть их вам — меньше всего подписчиков между евреями.

— Не может быть!

— Убедитесь в конторе.

— Чем же вы это объясняете?

— Евреи вовсе не интересуются, как их защищают. Больше всего их занимает: как их ругают, и потому они все — подписываются на «Новое Время».

Он убил на газету все состояние своей жены — милой и преданной Розалии Абрамовны, беспрекословно отдавшей приданое на любимое дело мужа. На ее глазах оно уходило все — обездоливая ее детей, но она ни разу не упрекнула его за эти невознаградимые потери. Когда «Новости» рухнули — ее уже не было в живых и она была избавлена от горя видеть и Осипа Константиновича и всех своих нищими. Место «Новостей» было тотчас же заполнено бойкими ростовскими южанами, приглашенными Нотовичем из «Приазовского края» на репортерское воеводство. Они, впрочем, не долго проработали у него и создали свои газеты, дешевые, бойкие, взявшие сразу такие верхние ноты, которых в диапазоне «Новостей» и не оказывалось. Как всегда, в данном случае отяжелевший север был побежден предприимчивым, лихорадочным, неутомимым югом. Нотович, кажется, сын таганрогского раввина — сам был южанин, но в его крови от питерской сырости и холодов — солнце давно потухло и, разумеется, не ему можно было выдержать эту борьбу со свежими бойцами, у которых еще не поблек южный загар. Новые птицы запели новые песни. Всегда полуакадемическому, «немножко философу», О. К. было и не по силам и не по характеру схватываться с ними. А тут подошел министерский обух, суд и угроза тюрьмою. Нотович был не из героев и меньше всего годился в мартиролог печати. Не из такой глины лепят мучеников. Он сам про себя говорил, не без юмора: «Я ужасно храбрый в кабинете при запертых дверях и плотно задернутых гардинах — только чтобы никого около не было». Еще храбрее он был на словах в беседах с доверчивым сотрудником. Тут в Осипе Константиновиче вдруг показывался незабвенный Иван Александрович Хлестаков. Особенно после свидания с министрами или сановниками. Судя по его словам, можно было думать, что они трепещут перед ним и его «Новостями». Надо было человеку хоть какое-нибудь, хотя в наших глазах, удовлетворение за только что испытанное унижение. А «важные обоего пола персоны, имеющие приезд ко Двору с Кавалергардского подъезда», в свою очередь, говорили о нем: «Он совсем ручной у вас. Я думал, Марат или, по крайней мере, непримиримый Бланки — а он завивает хвост и ласково смотрит в глаза… Весь тут!» Зато за рубежом, где положение печати иное — он умел держаться с большим достоинством, не поступаясь ничем. Я помню, во французской палате депутатов мне говорили:

«О, „Новости“, — это первая газета в России, ваш „Times“, и у вас министры ничего не делают, не посоветовавшись с monsieur de Notovitch». Таким образом, украсив свою петличку ленточкой почетного легиона, он скромно говорил: «Там меня ценят, они отлично знакомы не только с газетой, но и с моей книгой!»

Но после запрещения многострадальных «Новостей» и бегства в Париж от тюрьмы Осипу Константиновичу стало очень жутко. У него были миллионеры родные, но они не поддержали бывшего своего редактора. У него навертывались предательские слезы на глаза, когда он рассказывал о них, не удостоивших его даже ответом на его буквально голодные вопли оттуда. Один из его прежних друзей, человек, обладавший большими средствами, которому О. К. когда-то расчистил путь в литературу, тронутый его рассказом о постигших его бедствиях, незаметно вложил ему в руку бумажку. Нотович обрадовался. Уж очень наголодался перед тем и, когда его приятель вышел (дело было в Cafe Napolitain), быстро развернул кредитку… Он ее швырнул под стол. Соотечественник расщедрился на… русскую пятирублевку.

— Не вы ли уронили? — поднял garcon.

— Нет… Это, верно, господин, который вышел отсюда…

Он бросался во все стороны в поисках работы.

Умолял меня найти ему занятие. Рекомендовал себя в парижские корреспонденты. Разумеется, при его политической честности и широком образовании он в этой роли был бы на своем месте. Но ни одна из газет, когда-то боявшихся конкуренции его «Новостей», не была настолько великодушна, чтобы хотя за нищенский гонорар открыть ему свои столбцы. Брали людей полуграмотных, совершенно незнакомых с международными отношениями, часто сомнительных, случалось даже, заведомых биржевых игроков, в европейской жизни и местном обиходе невежественных, бестактных, плохо говоривших на местных языках и вовсе уж не представительных. Довольствовались базарною дешевкой, но не могли побороть в себе недавнего ревнивого чувства к павшему сопернику. Благороднее всех оказался А. С. Суворин. Как-то перед отъездом в Париж я ему рассказал о бедствиях Осипа Константиновича.

— Вот что… Я понимаю: он не может подписываться в «Новом Времени». Мы все время были политическими врагами, но пусть об этом знают я, он да вы, и никто больше. Предложите ему писать — об общелитературных явлениях на западе. Я ему дам на первых порах 1500 фр. в месяц. Если ему нужен аванс — телеграфируйте — немедленно переведу тысячу рублей. Или больше.

Нотовича в Париже я застал в ужасном положении.

Он бился из последних сил.

Я передал ему предложение Суворина.

— Я хорошо понимаю. Алексею Сергеевичу я нужен, как второй хвост собаке. Разумеется, мое положение безвыходно, но… Нет! Я ему очень, очень благодарен. Он один из всех… (Нотович отвернулся, чтобы скрыть свое волнение), но понимаете… Я не могу, не могу. Ведь я чуть ли не пятнадцать лет боролся с ним… Нет, не могу… Я напишу ему сам… Между нашими не нашлось ни одного такого. Ни одного! Все от меня, как от чумного! Вы знаете, что мне ответил ***…

И он назвал крупного московского издателя.

— «Кому вы нужны теперь? Сверх того, я боюсь, что мне и моему делу вы принесете несчастие, преследовавшее до сих пор и вас, и все ваши предприятия. Вы — человек сплошной неудачи и потом — чем таким вы ознаменовали себя как писатель? Мы ищем людей талантливых, а вы один из тех, которых приходится по сорока на дюжину»…

— А между тем, когда у меня была газета, он часами просиживал у меня в приемной и был слаще меда… Разумеется, мед часто киснет…

В последний раз наша встреча была неожиданна и уже фантастична.

Я приехал в Софию из-под Чаталджи. Только что с армиями Радько Дмитриева провел поход от Лозенграда через Люле-Бургас, месяц наблюдал действия болгар по направлению к Стамбулу от оз. Деркоса до Силиврии. И когда победоносные войска славянского Наполеона остановились до весны перед железною стеной турецкой защиты, я счел себя временно свободным. Я обносился, изголодался. Надо было в столице новоявленного царя Фердинандуса отогреться, отдохнуть. В долгие боевые периоды, когда вам не удается ни на одну минуту остаться одному — так повелительно необходимо одиночество. Я заперся в маленькой странноприемнице и отсыпался за шесть месяцев сплошной, и ночной и дневной, работы, радуясь молчанию моей комнаты, выходившей тремя окнами на пустынную улицу. На мое горе мне недолго удалось сохранить в тайне свое возвращение. Софийские газеты оповестили обо мне читателей, и местная интеллигенция, вспомнив роль, которую я сыграл в их освобожденной и окрепшей стране в 1877 и 78 годах, устроила мне банкет в местном военном собрании. На другой же день отчет об этом появился в печати — а в полдень мне подают карточку: «Осип Константинович Нотович».

Я изумился.

Что было делать здесь мирнейшему из мирных «маркизу

Оквичу» в военном лагере как один человек поднявшейся страны?

Я в первый момент обрадовался.

Не устроился ли злосчастный эмигрант корреспондентом при болгарской армии? Я знал, что с военным делом он очень мало знаком, но кто же, кроме Дрейера («Новое Время»), полковника генерального штаба, Мамонтова («Раннее утр»), капитана, тоже с академическим образованием, знал его? Не Троцкий же, приезжавший в Софию от «Киевской мысли», и не профессор Пиленко?..

Нотович мало изменился.

Только исхудал, еще более изнервничался. И без того подвижный, даже суетливый, он стал каким-то лихорадочным непоседой. То и дело вскакивал, болтал во все стороны руками, выбрасывал во всех диапазонах слова, в которых чувствовалась понятная обида. Клял все и всех, совершенно справедливо считая недавних друзей и соработников виновными в равнодушии к его участи, и тут же впадал в горделивый тон, рисуя ближайшее будущее в самых для себя блистательных и ярких миражах.

— Давно ли вы здесь?

— Уже две недели.

— Что же вы ко мне не заглянули?

И вдруг совершенно неожиданный минор.

— Ну, кому я теперь нужен? Моя песня спета, я уже не журналист и писатель…

— Давайте завтракать… Где вы остановились?

— В Grand Hotel de Bulgarie… [43]

— Ого!

— А разве есть другие?

И сейчас хвост павлином.

— Как видите… Я вот в этой маленькой.

— Нет, я не могу… Я представитель фирмы…

И он назвал какое-то тарабарское имя.

— Оно мне ничего не говорит.

— Мы объявили войну — войне!

Я почтил его вставанием.

— Да вы не смейтесь. Мы приготовляем непроницаемые для пуль, штыков и сабельных ударов панцири, шлемы, щиты. Для головы, груди, спины, коленей, локтей и животов… Такие же брони для лошадей. Вы знакомы с болгарскими министрами — помогите мне. Я до сих пор не могу добиться, чтобы эти дураки отнеслись ко мне внимательно.

Я вступился за болгар.

Там в официальных кругах было немало людей с железными затылками, упрямых, самоуверенных — но глупых я между ними

не знал. Таких я оставил в далеком Петербурге. Они недоверчиво относились к Нотовичу, ставя ему в минус его происхождение. Болгары того времени и режима — были все, как это ни странно в людях, образовавшихся в Вене, Турине, Париже и Берлине — юдофобами, и юдофобами непримиримыми, крайними, злыми.

— Им даже ничего не говорит то, что я двадцать пять лет руководил самым важным политическим изданием в России. Представьте, этот военный министр Никифоров, он не имеет никакого представления о редакторе «Новостей» — Нотовиче. Я не понимаю, как он может быть министром? Франция не Болгарии чета. А там, когда я появлялся в министерстве на Quai d'Orsay — всякий чиновник встречал меня: «Monsieur le directeur du journal Nowosty!» [44] Что же, мне в Турцию ехать, что ли, предлагать наше изобретение?

— У турок денег нет!

— Нет, есть. Но прежде чем получить их, надо истратить чуть не миллион лир ихних на взятку. Там ведь, начиная с султана, все берут пешкеши. Потом, разумеется, вернешь, но…

— Неужели ваша фирма не может затратить этого, так сказать, «наложенного платежа»?

Осип Константинович вдруг вспылил.

— Они? французы?.. Да наш Плюшкин — мот в сравнении с ними. Вы знаете, они послали меня сюда — и не дали даже достаточно средств, чтобы уплатить счет в гостинице. Я не знаю, как вывернусь.

Вот тебе, думаю, и война войне!

Вот те и хвост павлином!

Бедный Нотович!

Но он тотчас же вошел в роль коммивояжера. Распластался и начал демонстрировать, как надо, подползая к неприятелю, пользоваться панцирем, как его надевать, как заслоняться им у проволочных заграждений и идя в атаку. Было со стороны очень смешно, но мне хотелось плакать. Я вспомнил маркиза в величественных позах, вдохновителя большой газеты, когда он по утрам сообщал Григорию Константиновичу Градовскому директивы передовых статей, которые на другой день, появившись в «Новостях», должны были влиять на комитет министров, на государственный совет, на городскую думу, на всех, всех, всех, как пишут теперь. Я вспомнил милого нашего товарища в его беседах с В. Сементковским, слишком самостоятельным для того, чтобы на него не наколоться. Во встречах педантичного жреца корректуры, В. И. Модестова, которому он еще издали с ужасом кричал:

— Неужели опять запятая не на месте?

Или Боборыкину:

— Я в пяти частях не принимаю. В «Новостях» места не будет.

И вдруг демонстрация змееобразных движений какого-то ирокеза, только надевшего стеганый белый панцирь, на некрашеном полу скромнейшей из Софийских странноприемниц.

Увы, и на этот раз моему другу не повезло.

Хотя он героически предлагал на опытах — надеть панцирь и стать под дула храбрых болгарских воинов — военное министерство этой братоубийственной страны никак не решалось истратить свои парички; совершенно резонно соображая, что жизнь солдат-селяков не стоит цесарских желтиц, тем более, что по его соображению — весьма, впрочем, ошибочному — войне должен был наступить скорый конец.

Я опять уехал через Демотику кружным путем к Чаталдже и не знаю, как удалось Осипу Константиновичу выбраться из Софии. Потом мне рассказывали, что ему пришлось очень туго и образцы защитных панцирей он должен был оставить какому-то шалопаю, иначе ему, Нотовичу, нечем было бы оплатить билет от Софии до Парижа.

Да, это был человек сплошных неудач и грандиозных замыслов.

И в то же время — малых цифр.

Большие его пугали. Он набирал сотрудников числом поболее, ценою подешевле, и никак не мог сообразить, что такие не могли создать успеха газете.

Помню, с каким ужасом он говорил мне:

— Это Бог знает что! вы заработали в этом месяце 600 рублей. Подумайте только — шестьсот рублей. Еще один такой — и я разорен.

И сбавил мне гонорар на половину.

А эта небывалая сумма пришлась за статьи: «В гостях у Михеля», вызвавшие большой шум и значительно подымавшие розницу.

Я никогда не понимал если не глупой, то лицемерной фразы: о мертвых или хорошо или ничего. Это мы, преследуя всю жизнь человека, клевеща на него, обрезывая на каждом полете его крылья и, в лучшем случае, не поступаясь для него ничем — вдруг у его могилы слюняво — когда ему от этого ни тепло, ни холодно — возвеличиваем его обязательною траурною ложью! Даем взятку смерти и воспоминаниям, даже без цели. Ведь если бы взять такую латинскую заповедь за правило — тогда и суда истории не будет, и все благополучно отпетые и схороненные окажутся такими вздутыми фуфырями красоты, благородства и самых неистовых добродетелей, что потомкам и не понять будет,

откуда ж зло пошло в мире. У маленького О. К. Нотовича и минусы-то оказывались по плечу ему. Если мы каждый заглянем в самого себя и расскажем наши мысли и чувства, то воскресшую в моих воспоминаниях тень маркиза Оквича пришлось бы украсить лаврами монтионовской премии… Так и его страх перед большими цифрами понятен и извинителен, когда мы вспомним, каким мартирологом и безвыгодным предприятием в те времена была для редактора и издателя даже такая либеральная газета, какою являлись «Новости». Ведь уже не только не красная, а даже и не очень розовая, бледневшая со всяким понижением барометра Главного управления по делам печати!..

Давно, еще при Милане Обреновиче, я провел три месяца в Белграде. На моих глазах в Сербии совершались под диктовку австрийских агентов настоящие ужасы; никогда бешенство и бесстыдство реакции не доходило до такой жестокости и звериной слепой глупости. Не было такой средневековой пытки, какую бы верные королевские палачи не применяли к несчастным узникам местной политической тюрьмы. Это было сплошное издевательство над достоинством человека, вивисекция над его телом, терзания его души и совести… Нынешний «отец отечества» Протич — должен был давать показания под ударами курбашей, его то и дело выводили к расстрелу и, продержав во дворе темницы, пока на его глазах приканчивали других — возвращали в каменный застенок до другого дня. Приехав в Петербург под свежим впечатлением всего виденного, — я начал в «Новостях» ряд фельетонов об этом мученическом, в когтях швабского черного орла, народе. И вдруг, как говорится, на самом интересном месте, кажется, на первом допросе Протича — мои статьи были оборваны. Проходит неделя, другая, читатели пишут письма, спрашивая, что это значит. Нотович заперся от меня и в редакцию ходит, когда меня там нет. Наконец, я его накрыл, как воробья шапкой. Случайно вместе мы подъехали к конторе газеты. В кусты нельзя — кустов около не было. Нотович сконфуженно:

— Знаете, ваши фельетоны имели слишком шумный успех…

— Так, значит, их скорей надо печатать.

— Значит, да не значит. Помилуйте, — в Сербском посольстве прекрасные молодые люди, дипломаты (ударение!) возмущены ими. Они с негодованием говорили мне — меня посол приглашал обедать и там был австрийский советник тоже, — что король будет очень огорчен таким отношением к нему лучшей русской газеты, направление которой так сходится с образом мыслей конституционнейшего из монархов Милана Обреновича.

— Еще бы, его ставленники здесь подтвердили мои

наблюдения в несчастном королевстве!

Тут на (надо с огорчением подтвердить это) трусливого О. К. были три воздействия, — два цыца и третье: «Ваша великолепная газета, ваше политическое влияние, вы — единомышленник Его Величества, неужели у вас нет ордена св. Саввы?»… и т. д. Первый цыц — скрытая под лестью угроза прекрасных молодых дипломатов: «Помилуйте, мы едва сдерживаем нашу молодежь!» Второй — брошенный как будто вскользь советником австрийского посольства: «Мы слишком ценим вашу превосходную прогрессивную газету и, разумеется, нам трудно прибегнуть к обычному у вас в России приему зажать рот честному и влиятельному редактору полицейским запретом».

Угроза пустая.

Милана знали все.

Московские издания перьями своих корреспондентов свидетельствовали, что за цаца венчанный повелитель созданной нами полувосточной на правом берегу Дуная сатрапии. Гиляровский едва унес ноги оттуда. Милановы опричники уже подослали к нему спадассинов из-за угла. Но — Нотовичу заслепило глаза то, что дипломаты не только с ним считаются, но и свидетельствуют, как почтительно относятся к нему их всемилостивейшие повелители… Маленький и — таковы были условия того времени — поневоле малодушный человек вздувался, как пузырь, под дуновением официальной лести, сверкал всеми радужными отблесками, чтобы немедленно лопнуть при первом приглашении в Главное управление по делам печати для дачи объяснений.

Сотрудники «Новостей» вспомнят, что так было и не с одним мною.

Надо было много мужества редактору в царствование императора Александра III с точкой, а Осип Константинович Нотович был просто хороший человек, умный и образованный, но не герой и не талант, повелительные требования которого часто и малодушных делают героями. Такой героизм был у его сотрудников, но ведь они рисковали только своей особой, выражаясь грубо — шкурой, но не карманом. Разумеется, более предусмотрительный человек, учитывая тогдашнюю жестокую действительность, сообразил бы, что, сохранив невинность, все равно капитала не убережешь (где же было думать прогрессивным издателям о его приумножении в те Ананасные времена не только точек, но и многоточий!). Лишь бы продышать мудрому щедринскому карасю и не попасть на победоносцевски-толстовскую сковородку, и то слава Богу. Но Нотовичу казалось, что в конце концов он — немножко философ и мудрец — всех

победит, выстоит под ударами внезапно налетавших отовсюду бурь и в воздаяние своему долготерпению процветет, аки жезл ааронов. Мне в своих воспоминаниях о нем приходится то и дело возвращаться к этому лейтмотиву тогдашней периодической печати. К сожалению, на пути к шкурному благополучию у Нотовича, как это и видно из рассказываемого мною, стояло то, что он был поэт без таланта, как есть министры без портфеля. Поэты без таланта чаще, чем думают. Чувствует великолепно, фантазия во всю и рисует радужные горизонты — издателю-поэту миллиарды в тумане, — а слов и способов для выражения или достижения нет! Так и у Нотовича планы, масштабы, размахи — пока он у себя в кабинете, но первое столкновение с настоящею прозою печати или, лучше, редакционной конторою, и смотришь — ааронов жезл увял и обезлиствел.

Он очень любил позировать!

Возвращаясь к злополучному пребыванию его в Hotel Bulgarie в Софии, я без грустной улыбки не могу вспомнить О. К. в его беседах с полусумасшедшей генеральшей, неведомо зачем явившейся на славянский юг. Она вообразила, что Нотович до сих пор стоит во главе русской либеральной печати (чем он, собственно, никогда не был!), и настойчиво требовала у него печатания своих сумбурных мемуаров «обо всем, всем, всем!». Бедный мой друг то горделиво и пышно распускал павлиний хвост, то погружался в грустное раздумье, думая ее заинтересовать коммерчески в своих непроницаемых панцирях. Она, не отказываясь, думала его провести: сначала мемуары, а потом панцири, а он тоже в свою очередь хотел ее переобуть: сначала панцири, а потом подумаем о мемуарах.

Выходило и жалко, и смешно!

Сумерки души всегда таковы у маленьких божков, которые сумели взобраться на цоколи, но не смогли удержаться на них.

Смерть часто запаздывает. Она точно не хочет, чтобы люди умирали с достоинством на своем посту, и ждет, чтобы судьба сбила их прочь на жалкие и утомительные проселки.

Как-то у Нотовича в той же Софии вырвалось о Н. К. Михайловском:

— Счастливец! Он умер вовремя.

Плохо, когда живой и здоровый с завистью смотрит на каждые похороны! Первый признак того, что душа выгорела, высох фитиль и нет масла, чтобы снова зажечь его и осветить большую еще остающуюся страдную дорогу. Днем огня не нужно, но непроглядные ночи тяжелы пережившему себя человеку. Ведь бессонница приходит именно тогда, когда нужны искусственные огни.

Проклятием и тормозом Нотовича было то, что он непременно хотел быть писателем. Писателем-философом, писателем-публицистом, писателем-драматургом. Другие издатели не столь требовательны. Их влечет не литературная популярность, не поклонение чуткой к таланту молодежи, часто хватающей сослепу наживку накладной искренности, — а подписная касса и касса объявлений. Они глубоко равнодушны к тому, знают ли их читатели, лишь бы росла подписка. И такие пухнут и наливаются жиром. Нотович, останься он только издателем, пожалуй, и по сей день, если бы и не занимал места славного потомка Гуниади-Яноса и жены его Апенты на кормах у русской читающей публики, то все-таки жил бы на покое, безмятежно и обеспеченно. Но ему не давали спать чужие лавры. Он хотел быть вторым Сувориным прогрессивного лагеря. Суворин — писатель, и Нотовичу нужна такая этикетка. Алексей Сергеевич написал Татьяну Репину — и Нотовичу понадобились вызовы и аплодисменты восхищенных читателей. Редактор «Нового Времени» засел в свой театральный комитет, и Осип Константинович туда же. Что он пережил и на какие шаги ни решался, лишь бы поставить свою пьесу, самое имя которой завзятые театралы великодушно забыли. А между тем сам Нотович, труня над собою, рассказывал мне:

— Я с младых ногтей драматург.

— ?

— Еще бы: тринадцати лет (кажется, в Таганроге) я написал благороднейшую драму с еще небывалым трагическим эффектом. Оскорбленная героиня стреляет в обольстительного злодея из пистолета, и у того на лбу мгновенно появляется красная надпись: «Подлец».

Сколько он утратил симпатий и уважения от людей, искренно к нему расположенных, гоняясь за благоприятными отзывами о своей книге, о своей пьесе! Корреспонденты его были поголовно мобилизованы.

— Что он себе думает? Стану я по четыре коп. за строчку писать о его философии…

И одесский представитель «Новостей» заканчивал:

— По крайней мере, по шести! И извозчик в театр и обратно на его пьесу.

Он перебелил Виктора Гюго «Отверженных» для театра. Покойная Комиссаржевская была удивительна в Козетте. Ее успех — потрясающий — Нотович записал в свой приход и, весь овеянный горделивыми мечтами, восторженно говорил мне:

— Если бы она была моей женой! Мы с ней перевернули бы сцену.

— Вверх ногами? — ядовито заметил Вл. Ос. Михневич, глядя на него поверх очков.

— Не все такие бездарные, как вы! — обозлился Осип Константинович. — Вот Василий Иванович (я) вчера аплодировал, как сумасшедший, Вере Федоровне.

— За то, что она поправила автора…

Нотович увял и долго дулся на Михневича.

Осип Константинович, впрочем, был не злопамятен. Он потом сам смеялся над собою… чтобы не смялись другие!..

Один из ныне здравствующих последних могикан-шестидесятников на мой вопрос, что его не видать в редакции:

— Не могу-с!

— И ничего нам не даете.

— И не дам пока… Выжду.

— Почему?

— Да маркиз сейчас всучит мне «немножко философии» для отзыва.

Я знал другого издателя, неизмеримо талантливее и крупнее. Он сам писал и имел громадный, по тому времени, успех, и при этом мучительно завидовал каждому сотруднику, если тот писал удачные вещи, обращавшие на себя общее внимание. Надо отдать справедливость Осипу Константиновичу, он был чужд зависти и доброжелательно относился к каждому выдававшемуся сотруднику, лишь бы это не очень отражалось на гонорарной книге.

Андрей Александрович Краевский был тем и хорош, что кроме ордеров на кассу (выдать — имярек — столько-то, за то-то) ничего другого не подписывал. Поэтому его автографы очень ценились сотрудниками и нисколько им не мешали. Ограничься Нотович только издательскими: «Быть по сему», — он бы избавился от многих неприятных переживаний оскорбленного самолюбия и облетевших надежд.

Он, впрочем, сам понимал себя.

Как-то в Париже, уже больной, осунувшийся и утративший веру в себя, он говорил мне:

— Я вам завидую. Вы идете своей дорогой, не сворачивая в стороны. А я всегда бросал ее для… надо сознаться теперь — глупых миражей, и шел туда, где я был не нужен или меня не хотели!..

Жутко, когда у самой могилы человек подводит такой скорбный итог всей своей жизни.

Впрочем, Нотович сейчас же поправился, точно стыдясь безотрадного порыва поздно пробудившейся самооценки. Никак не хотел сознаться в своей бездарности.

— Вы знаете, вокруг каждого литературного дела маленькие люди умеют так сплотиться, локоть к локтю, что сквозь их сплошной забор и большому работнику не пробиться.

В этом отношении он был прав.

Действительно, нет теснее союза, как союз никчемной посредственности, ревнивой к добытому ею нахрапом почетному и сытному углу. Талантливые люди всегда действуют в одиночку — сам за себя каждый, а эти скопом, сговором, стаей. Только и здесь Нотович напрасно утешал себя. Если бы он и мог упрекнуть себя в этом отношении, то только в том, что он сам с этими посредственностями не вступил в союз и не встал с ними плечом к плечу на охрану отвоеванных позиций.

Я слышал, что цепко хватавшийся за жизнь Осип Константинович и после нашего свидания пробовал все, надеясь, назло судьбе, стать на ноги. Но она была к нему несправедлива. При его работоспособности — сбрось только он с себя вериги самомнения — ему бы удалось многое… Господи! да разве такие преуспевают на том же хлебном и почетном положении политического корреспондента за границей! Или мы не знаем полуграмотных наглецов, пробивающихся в первые ряды посланников русской печати за рубежом? Они и устраивают свои дела, им и заискивающие улыбки французских, хотя бы, министров, и рукопожатие президента, и даровые билеты по железным дорогам всего мира и в бесчисленные театры Парижа, Лондона, Берлина и Рима, и красные ленточки в петлички. Ведь перед этими рептилиями Нотович был Монбланом в сравнении с блохой, и Монблан погиб в нищете и бедствиях, а блохи и сейчас благоденствуют, преуспевая на своей чужеядной работе… Но Нотович был честен и разборчив в средствах; Нотович был одинок и беспомощен. Он сам разорился на издательстве, не обманув никого, кроме себя и своих. И поэтому, умирая от голода, он мог досыта любоваться успехами людей, недостойных развязать ремней у его сандалий!..

Да, и война войне не помогла ему.

И некрушимые панцири не выручили бедного маркиза Оквича…

Я бы приложил к этим беглым воспоминаниям о нем затасканную и захватанную марку: мир праху твоему, Осип Константинович! — если бы прах вообще нуждался в каком бы то ни было мире. Но не могу не помянуть добрым словом этого честного и большого неудачника, неутомимого, безработного в последние его годы, работника, которого никто не упрекнет в литературном предательстве, в измене тому, что он считал святым и прекрасным, хорошего товарища, без злобы и зависти,

этого баяра журналистики, но баяра именно русской журналистики, без упрека, но с великим страхом. Проходя по ее тернистому полю — он знал его шипы там, где другие паслись и тучнели, умея обходить шипы, рожны и заставы с внезапно падавшими на неосторожных путников шлагбаумами… Разумеется, в Нотовиче литература не потеряла ничего. Она взяла от него все, что он мог дать ей, как издатель и редактор большой газеты, но он, так много поработавший и так тяжело поплатившийся великим горем за малые грехи свои, имел право потребовать у нее спокойной и обеспеченной, хотя бы его новым трудом, старости. И периодическая печать в лице своих махровых плантаторов и хозяев отказала ему в этом и обрекла чуть не на голодную смерть… Я бы сказал: стыдно им, этим толстокожим Гаргантюа печатного станка, но… Стыд не дым, глаз не ест… Да и если бы ел, дай Бог здоровья глазам — отмигаются…

И кроме того — мертвые сраму неймут.

А они — мертвые, хотя мы видим их живыми и здоровыми между нами. А Осип Константинович Нотович, хоть и истлел в своей чужедальней, заброшенной и забытой могиле, — но живет в нашей благодарной памяти и будет жить, пока и мы вслед за ним не уйдем в черные ворота смерти…

И тогда — не все равно ли?

Сколько прочитанных посредственных книг забыты на полках библиотек! Каждая внесла когда-то крупицу в общую сокровищницу культуры… Безбрежный океан не считает составляющих его капель, но без них и океана бы не было!

Погасшая звезда (Миниатюра) (М. А. Лохвицкая)

Посвящается А. Г. Оргу

На нашем тусклом горизонте она мелькнула яркою голубою звездочкой.

Сколько надежд связывалось с нею! Как восторженно встретили ее все, кому была дорога истинная поэзия. На что уж-Скабичевский, тому стихи без барабанного грохота гражданских чувств по Некрасову и политической подоплеки по Михайловскому казались чуть ли не преступлением, «в наше время, когда и проч., и проч., и проч.», и тот, слушая сафические оды молоденькой писательницы, пускал пузыри на губы. Даже его преподобие косолапейший из критических российских неуважай-корыт Протопопов, которому в Москве у Вукола Лаврова прочли несколько маленьких стихотворений Мирры Александровны, разворочал свою кудлатую гриву, одобрил: хо-рро-шо-с, весьма хорошо-с!.. И при сем все-таки погрозил кому-то волосатым кулаком в пространство. Я о простом бесхитростном читателе не говорю. Ее строфы заучивались наизусть и — о, верх популярности! — щеголеватые писаря, помадившиеся цедрой лимонной, писали их легковерным модисткам, выдавая за свои. Ее ожидал ряд долгих годов и настоящая большая слава; с каждым новым произведением Лохвицкая все дальше и дальше оставляла за собою позади молодых поэтов своего времени, хотя целомудренные каплуны от литературы и вопияли ко всем святителям скопческого корабля печати и к белым голубям цензуры о безнравственности юного таланта. Один Л. Н. Толстой, который, со своей точки зрения, мог бы обвинить ее, при мне в Москве у покойной Варвары Алексеевны Морозовой снисходительно оправдывал ее: «Это пока ее зарядило… Молодым пьяным вином бьет. Уходится, остынет и потекут чистые воды!»

Я знал ее еще девочкой-гимназисткой.

Как-то в темень осеннего вечера приносят ко мне пакет. Неизвестность, подписавшаяся литерами М. Л., просит ответить ей до востребования на эти буквы: «Стоит ли ей писать или нет». Старым авторам часто приходится получать такие послания, и, кроме скуки, от них ничего не ждешь. А прочесть надо и

высказаться тоже. Нельзя же не пожать протянутую руку или не приподнять шляпу на поклон. Невежливо, а для писателя с именем, которому верят, — вдвое. Развернул я эти листки, и точно на меня солнцем брызнуло. Я не помню, что я набросал «начинающему поэту», но через несколько дней ко мне — я жил тогда в «Hotel d'Angleterre» [45] на Исаакиевской площади, — постучалась подросток лет четырнадцати, в кофейном мундирчике с беленькой пелеринкой, наивная, застенчивая, мерцавшая ранним огнем прелестных глаз. Потом она часто бывала у меня, неизбежно сопровождаемая старой дуэньей, как и полагается девочке de la bonne famille [46]. Она своим присутствием согревала эту оливковую бархатную гостиную, с плотно занавешенными окнами и толстым, скрадывавшим шорохи, ковром. Свернется, бывало, как котенок, в углу большой софы и мечтает вслух, и я сам молодею, невольно возвращаясь к далекой юности, сплошь залитой розовыми лучами лазурных утр. «С вами хорошо, — как-то вырвалось у нее. — Вашему сердцу тоже пятнадцать лет. Мне со взрослыми трудно. Они не умеют читать по-моему!» А то вдруг, полузакрыв глаза, из-под век сверкая ими, тихо, тихо шепчет, точно импровизирует свои стихи. Каждая строчка теплилась красивою, чисто южною страстью и таким проникновением в природу, какой не было и у больших поэтов в почетном углу русского Парнаса. Она уже и тогда в полной мере обладала техникой. Ей нечему было учиться у версификаторов, которых мы часто венчали лаврами истинной поэзии. Она больше, чем кто-нибудь, отличалась музыкальным ухом и, пробегая по строкам взглядом, слышала стихи. Родилась и выросла в тусклом, точащем нездоровые соки из бесчисленных пролежней Петербурге, — а вся казалась чудесным тропическим цветком, наполнявшим мой уголок странным ароматом иного, более благословенного небесами края. Впрочем, ведь и в жарких тропиках самые причудливые лианы — эти фантазии вышедшего изо всякой меры творчества — рождаются на отвратительном перегное змеиных трупов, жарких болот и разлагающихся плодов. Днем, когда гардины не были спущены, дикими и неестественными казались — рядом с этим божком горячего, пышного юга — за слезящимися стеклами мутная даль, трепетные скелеты безлистных деревьев и точно окоченевшие стены. Как будто ко мне залетала радостная, вся в жару, белым ключом бьющейся жизни птичка. Из-за гор и морей, из-за пустынь, вся еще овеянная дыханием солнечных пышных рощ. Чудилась душа, совсем не родственная скучному и скудному, размеренному укладу нашей жизни. И мне казалось: молодая поэтесса и сама отогревается в неудержимых порывах вдохновения, опьяняется

настоящею музыкою свободно льющегося стиха. Где они? Многие из них, которые я когда-то так любил, исчезли, других она и вовсе не записывала. Я не встретил их в томиках, изданных впоследствии.

Я случайно у себя нашел коротенький набросок ее.

Мирра Александровна не застала меня дома и вместо визитной карточки написала на… счете из гостиницы «Англия» двенадцать прелестных строк:

Хотела б я мои мечты,
Желанья тайные и грезы
В живые обратить цветы;
Но… слишком ярки были б розы!

Хотела б лиру я иметь
В груди, чтоб чувства — робки, юны,
Как песни начали звенеть,
Но… порвались бы сердца струны.

Хотела б я в минутном сне
Изведать сладость наслажденья,
Но умереть пришлось бы мне,
Чтоб не дождаться пробужденья…

Помню, под впечатлением этой красоты полудетских порывов — долгие и красивые часы неописуемых изменчивых переливчатых миражей, счастливые паузы, когда мы тонули в мерцающем царстве вечной грезы, без которой так тяжело и скучно было бы на нашем мерзлом севере. Она с жадностью слушала мои рассказы о несравненных чудесах Испании, из которой я недавно приехал. Я весь жил еще призраками Севильских багряных и фиолетовых вечеров с черными силуэтами стройных пальм las delicias и мраморной поэмы арабской хиральды. Казалось, я слышу и вижу музыку и пляску в изящных patio, до меня доносятся благоухания цветов с адотей и плоских кровель, с пышных клумб, обрамивших витые балконы! Еще не затягивалась серою мглою наших буден величавая мавританская Гранада с блуждающими фантомами Боабдилов и Аль-Манзуров на ее таинственных улицах. Африкансиза в финиковых садах и лесах Эльче и радостная, светлая Малага, истинная царица Амдалузии. Я передавал своей чуткой слушательнице об очарованиях маленьких кастильских городов, где старинных рыцарских щитов на стенах больше, чем окон и корон, и шлемов больше, чем труб. Мирре Александровне точно не хватало

воздуха. Она задыхалась при одной мысли, что когда-нибудь она сама увидит все эти чудеса… И часто, закрывая глаза, роняла: «Как хорошо… Какая сказка… Прекрасна должна быть жизнь» — там, за рубежом грозных в скалы и снега одетых Пиренеев.

Как-то она пришла ко мне…

Я дописывал свой «Жилой музей» — воспоминания о Толедо для «Русской мысли».

— Прочтите!

Пристала она ко мне.

— Ну, что вам стоит… Прочтите…

Я начал и дошел до толедской ночи на Закодавере, как вдруг услышал ее рыдания.

— Что с вами, детка?

— Нет, ничего… Так… Сейчас пройдет. Я не могу равнодушно слушать. Сколько счастья в мире, и как оно далеко от нас!

— Счастье везде. Только там оно в чудесной рамке… Счастье и здесь в этом закутанном ото всего мира кабинете с моей маленькой и тоже сказочной феей.

— А в Греции вы были?

— Сколько раз. Ее нужно видеть в лунные ночи, когда сегодняшняя явь вся сплывает со старой божественной Эллады.

— Я ее такой представляю себе.

И уж по почте она прислала мне лоскуток с новыми стихами: «Киприде».

Веет прохладою ночь благовонная
И над лазурью морской
Ты, златокудрая, ты, златотронная,
Яркою блещешь звездой…

Что же, Киприда, скажи, светлоокая,
Долго ль по воле твоей
Будет терзать эта мука жестокая
Слабые души людей.

Там на Олимпе в чертогах сияющих,
В дивном жилище богов,
Слышишь ли ты эти вздохи страдающих,
Эти молитвы без слов?

Внемлешь, как трепетно неугомонное
Бьется в усталой груди?
Ты, златокудрая, ты, златотронная,

Мы, случалось, выходили вместе и шли пешком с Исаакиевской площади на (кажется) Надеждинскую, где жила ее семья. Дуэнья, как верный сторожевой пес, следовала за нами. Я любил эти прогулки. Лохвицкая умела вскользь, не придавая никакого значения, поэтизировать все, что попадалось нам навстречу. И людей, и бледное анемическое северное небо, и чего уж будничнее — дома-тюрьмы со слепыми окнами. Был у нее в душе свой аппарат, и самые обыкновенные закоулки отражались в нем лучезарными. У Мирры в распоряжении не оказывалось вовсе того юмора и остроумия, которые по всем судам широко размотал ее отец, знаменитый Александр Иванович Лохвицкий, — адвокат — один из талантливейших поэтов трибуны своего времени. О нем рассказывали бесчисленные анекдоты, и будь в тогдашней России народное представительство, мы в нем имели бы первоклассного политического оратора. Его ответы — всегда неожиданные, меткие — поражали своей находчивостью. Я хорошо помню, как один москвич, спасенный им от крупного и грозившего бубновым тузом на спину уголовного дела, скряга и загребистая лапа, умиленно и елейно обратился к нему:

— Благодетель Александр Иванович! Не знаю, какому Богу за вас молиться. Как, и в толк не возьму, — благодарить вас!..

— С тех пор, как финикиане изобрели денежные знаки, об этом не может быть никакого вопроса!..

Остроумием он Мирру Александровну обделил, оставив его своей второй дочери Надежде Александровне, не только прекрасной лирической поэтессе, но и талантливейшему нашему юмористу. Кто не знает Тэффи, изящный смех которой едва ли не ставит ее выше даже таких всемирно известных писателей, как Джером Джером и Марк Твен? Но, наверное, девять десятых ее читателей совсем не знакомы с оригинальными поэтическими отрывками ее музы. Тэффи — автор прелестных, нежно окрашенных стихов, которым, к величайшему сожалению, она не придает никакого значения.

Их брат — доблестный боевой генерал, георгиевский кавалер, один из лучших офицеров нашей, когда-то великолепной, армии. Он командовал русскими полками во Франции в Кан-де-Майи, и его высоко ценили тамошние товарищи. Главнокомандующий Жоффр считал его на этом фронте одним из лучших вождей.

— Я бы, не колеблясь, предложил ему корпус или большой отряд с отдельною стратегическою задачей, — говорил он мне.

Вообще, семья, где не было зауряд-прапорщиков — ни в

литературе, ни на боевом поле.

Раз во время одной из таких прогулок Мирра Александровна сбежала от своей дуэньи. Мы быстро направились на Надеждинскую, и ее горничная, растерянная, смущенная, обрадовалась, узнав нас издали в их подъезде. Мы ее ждали, чтобы не подвести под ответ. С тех пор та уже не следовала по пятам молоденькой поэтессы, не дремала в коридоре перед моими комнатами, а уходила по своим делам и возвращалась к тому часу, когда нам нужно было расставаться. Мирра Александровна страшно радовалась этой свободе и шалила, как настоящий ребенок, ставя у меня все и меня самого вверх дном. Ей почему-то особенно нравилось создавать фантастические планы нашей поездки вдвоем в Испанию и Италию. Особенно, сидя у камина, под его разнеживающим теплом — она любила представлять себе знойные дни Севильи и, полузакрыв глаза, импровизировала маленькие поэмы, сменяя прозу стихами и в минуты более яркого подъема впиваясь в мою руку острыми коготками…

Знойное солнце и синие тени…
Желтые воды реки…
Старых дворцов золотые ступени…
Сладкие грезы задумчивой лени —
В темных листах огоньки…

— Какие? Да, не царапайтесь, Мирра Александровна.

— У вас же я читала: в лимонных и апельсинных рощах — плоды, как искры горят под тамошними лучами… Неужели больно?

— А то нет?

— Слушайте, так хорошо будет:

Струны гитары так ласково нежны,
В сердце стучат: отвори!
Страсть и любовь, словно смерть, неизбежны, —
Счастье пьянит… Поцелуи мятежны…
И от зари до зари…

— Хорошо?

— Откровенно?

— Да.

— Для другого хорошо, для вас нет. Я в импровизации русских поэтов не верю. Наш язык, чудесный, звучный, точный…

скульптурный язык, к этому не приспособлен; вовсе другое дело у итальянцев, там слова поют. Они ведь и не учатся своему языку, а «ставят его в ухо» — si mette in orechio! [47]

— Ну, а «Египетские ночи» Пушкина?

— Хотел бы я видеть черновик их. Сколько поэт работал над ними! Импровизации великолепны во сне, может быть, именно потому, что, просыпаясь, не помнишь их. Остается впечатление чего-то прекрасного. До боли силишься вернуть гармонию стиха и яркие образы — и все напрасно.

— Да… Это и со мной часто бывает, но одно свое стихотворение — я все-таки удержала в памяти и записала его… Думаю, что именно такими мне слышались во сне эти стихи.

Не знаю, вошла ли эта маленькая поэма в ее книжки. У меня сейчас под руками нет их.

Как будто я не встречал ее там. Сегодня я нашел ее и привожу целиком, думая, что ни одна строка такой пышный расцвет обещавшей нашей Сафо не должна пропадать.

Царица снов

Говорят, в царстве снов есть чудо-дворец,
Весь из золота слит и порфира.
Там рубиновый трон и алмазный венец
Ждут царицу подземного мира…
Есть на дне океана коралловый грот,
Где блестят жемчуга дорогие, —
Там давно ожидают владычицу вод
Шаловливые рыбки морские.
Но в подземные недра меня не манит
Обещанье обманчивой сказки.
Я люблю, когда солнце мне душу живит,
Когда ярко мне косы оно золотит,
Рассыпая горячие ласки…
И хрустальная глубь не прельщает мой взор,
Не сулит мне желанной свободы.
Мне милее лазурного неба шатер,
И полей и лугов необъятный простор, —
Красота вековечной природы.
Нет, царить я б хотела над миром теней,
Миром грез и чудес вдохновенья,
Чтобы сны покорялися воле моей,
Чтоб послушны мне были виденья.
Посылала бы детям счастливые сны,

Чтоб смеялись они, засыпая,
Чтобы видели птицы проказы весны
И забавы веселого мая.
А сама я, одев серебристый покров,
Из тумана и лунного света,
Над землею летала царицею снов,
Чтоб припасть к изголовью поэта.
И, проснувшись, — он вспомнит о радужных снах,
Позабудет заботы земные
И в волшебных и ярких и звучных стихах
Перескажет нам грезы ночные…

У нее воображение развивалось особенно потому, что дома, в строгой семье, она вела слишком замкнутую жизнь. «Мне не дают воли! — говорила она. — Ну и развернусь же я потом. Каждою порою жить буду вовсю. Я за все эти годы возьму свое… У меня в сутках сорок восемь часов окажется…» При других она запиралась на все замки. Из угла большой и мягкой софы — она пытливо следила за всеми, чутко слушала, не высказываясь. Я помню, как Владимир Соловьев, очень ценивший ее первые стихи, приставал к ней у меня.

— Вы всегда, Мирра Александровна, так отмалчиваетесь?

— Нет, с Василием Ивановичем, например…

— А почему же с ним только?

— Он свой… Он отучил меня стесняться… Он умеет чувствовать тоже.

— Как это?

— Он всегда угадывает, чего я хочу. С ним нет диссонансов.

И потом она мне о нашем, так рано умершем, философе:

— Знаете, в нем и ангел, нет не то: и пророк, и демон.

— Вот тебе и на!

— В самом деле. Верхняя половина лица — апостол, аскет, прямо его в Фиваиду. А нижняя — особенно рот — сатана… Сложный. Никак его сразу не сообразишь…

Вл. Соловьев жил тогда тоже в гостинице «Англия» и, как он говорил, «для пауз» заходил ко мне. В своем тусклом и маленьком номере он много работал, радуясь тому, что об этом его убежище мало кто знал. Он очень любил — вероятно, по симпатии противоположных характеров и натур — встречаться у меня с Терпигоревым (Сергеем Атавою), который очень не понравился Мирре Александровне.

— Вот уж «земля»! Ничего одухотворенного. Может быть, большой талант. Я вам верю, только с пятипудовой гирей на

крыльях… И сам не улетит, и другого не унесет в высоту…

Я должен был уехать на восток.

Меня вызывали в Шираз, в Персию…

В последнюю нашу встречу она просила меня:

— Возьмите меня с собой.

— Вы это не серьезно, надеюсь.

— Я переоденусь мальчиком…

— Ничего не имею против. Расскажите своим, и если они одобрят этот план — буду счастлив и рад.

— Вы все смеетесь! А между тем…

Она задумалась, пристально вглядываясь в меня.

— Мне что-то говорит, что мы опять встретимся — совсем, совсем чужими. Может быть, вы пожалеете, что оставили меня здесь… уехали…

Она отвернулась к окну и заплакала.

— Точно я что-то хороню дорогое, близкое… Такое близкое… какого у меня, верно, долго не будет… А впрочем… Вольному воля… Не хотите и не надо!

Она смахнула слезы и засмеялась.

— Фу, какая я стала сентиментальная. Вам не смешно?

— Нет…

Я вернулся только через два года.

Из Персии я попал в Малую Азию. Меня старомусульманским укладом жизни захватили Алепо, Моссул, Багдад и Дамаск. В те счастливые времена в пеструю сказку востока еще не вторгались немецкие культуртрегеры и все ее пульсы бились полною, настоящею своею жизнью. Бледный призрак Мирры все реже и реже появлялся в моих воспоминаниях. Я все дальше отходил от этого счастливого сна, так согревшего мою тогдашнюю петербургскую зиму. Правду говоря, мне не хотелось возвращаться к этой наивной идиллии девочки, которой я годился в отцы по меньшей мере. Наши — то шаловливые, то поэтические — встречи были так нежны и чисты, что им радовались бы ангелы, если бы им вздумалось подслушивать нас и подсматривать за нами. До сих пор все эти пережитые дни чудятся в каком-то голубом свете, на который ни одна страстная мысль не бросила своего багрового отблеска. Это — осталось за мною как радостное, прохладное утро. Солнце еще не подымалось на безоблачных небесах и его жаркие лучи не обдавали наши помыслы зноем желаний, которых потом пришлось бы краснеть. Вернувшись в тот же отель на Исаакиевской площади, — я рисовал ее себе в уголке той же оливковой софы, свернувшейся, как молодой котенок, перед камином, но и этот призрак тускнел. Она уже начала печататься. Как-то я встретил Марью

Всеволодовну Крестовскую.

— На днях — мы говорили о вас.

— С кем это?

— Молодая поэтесса, Мирра Лохвицкая.

— Да?

— Очень талантливая. Вы дали ей много веры в себя. Она о вас вспоминает так тепло…

Мы встретились потом… В очень шумном и глупом литературном кружке, где какой-то лохмач, вообразивший себя Аполлоном, читал бездарные стихи. Ему из вежливости аплодировали. Он вдруг обратился к Мирре:

Я бог поэзии, я чудо из чудес…
Когда бы я нуждался в смертной музе,
Тебя бы я увлек в прохладный темный лес…

Я не помню, что было дальше. Мирра фыркнула, другие засмеялись, поэт обиделся и скис.

Только перед самым разъездом Мирра подошла ко мне.

— Вы меня довезете домой?

Я поклонился.

— Кажется, вечность мы не виделись. Какая была я тогда смешная.

— Не нахожу.

— Из вежливости?

— Нет. В моем прошлом это уголок, освещенный солнцем.

— Да, правда… Вы не улыбаетесь глупой девчонке, царапавшей вам руки?

— Улыбаюсь, как милому и радостному призраку.

— Вы не знаете, как мне досталось за вас.

— За меня.

— Да… Даже рассказать не могу.

— От кого?

— От мамы!

Помолчала с минуту.

— Я, может быть, скоро выйду замуж.

— Вы любите?

— Нет… А, впрочем, не знаю. Он хороший… Да, разумеется, люблю. Это у нас, у девушек, порог, через который надо переступить. Иначе не войти в жизнь.

Мы виделись еще несколько раз. Но она уже была «вся чужая».

Те невидимые нити, которые связывали нас, — все человечество опутано ими — оборвались и отмерли. Говоря друг

с другом, мы уже не испытывали сладкого трепета в душе. Нас не тянуло — остаться у камина вдвоем и, глядя в огонь, точно читать в нем непередаваемые заревые строки… Только встречая в журналах того времени ее новые стихи, я в их нежной ласке и горячих призывах, в звучном мастерском ритме, в этом свободном языке страстной неудержимой фантазии, узнавал Мирру, Мирру моих воспоминаний… Прелестную девочку, носившую стоившее ее имя!

Стихов ее искали.

Их охотно печатали.

И самые нелепые козлы редакторского мира разнеживались, получая от нее ее коротенькие сафические гимны. У нее не было врагов, хоть она для этого обладала достаточным талантом. Ее успеху не завидовали — эта маленькая фея завоевала всех ароматом своих песен… Они, точно рассыпанные розы, останавливали всякие ослиные копыта, не решавшиеся топтать их раннего расцвета. Не смейтесь над этим сравнением. Я хорошо помню на Капри, по пути на Salto del Tiberio [48] — разбросанный букет на каменистой узенькой тропинке и почтенное ушастое животное старалось не наступить на алые, умиравшие на припеке, цветы…

Все обещало ей чудный расцвет.

Повторяю — у нее был большой настоящей талант, сейчас же признанный всеми. Ей не пришлось, как нам всем, проходить сквозь строй критического непонимания, бесшабашных «ату его!» дуболобых горланов и кретинов, привыкших оценивать новые литературные явления от старой печки, не иначе. «Нашего брата надо — топором в нос, — признавался один из таких, — чтобы искры из глаз посыпались». Лохвицкая не попала в это чистилище, из которого мы все переходили — все-таки не в рай, а в… ад. После Фета я не помню ни одного настоящего поэта, который так бы завоевывал, как она, «свою публику». Она была не самолюбивой и жадной искательницей странного и неясного, вместо оригинального, она не выдумывала, не кудесничала, прикрывая непонятным и диким отсутствие красоты и искренности. Это была сама непосредственность, свет, сиявший из тайников души и не нуждавшийся ни в каких призмах и экранах, чтобы чаровать тех остолопов, которые ищут в поэзии того, чего они никак уяснить себе не могут. Поэтесса «милостью Божьей», а не свободным плебисцитом газетных апашей — она задумывала много, но…

Она жила не долго!

— Мне так хочется на греческие острова: Мителене (Лесбос), Хиос, Родос.

— Почему именно туда?

— Хочу попробовать себя на крупной поэме. Чего вы морщитесь?

— У меня был в юности друг — великий комик Пров Садовский.

— Ну!

— Так он — страшно завидовал большому, но не великому Шуйскому… Я помню, как он говорил: не умру, не сыгравши трагическую роль!

Она засмеялась.

— Нет, мне хочется написать в моем роде. Сафо. Мне кажется, что я ее понимаю несколько иначе, чем до сих пор представляют себе записные толкователи древних поэтов. Вы были там?

— Еще бы, объехал почти все эти острова.

— Так бы и побила вас.

— За что?

— Отчего меня не взяли с собой?

— Хорошая картина, нечего сказать! Вы бы сами потом не простили мне.

— А вы нуждаетесь в прощении? Сколько романов написал, а того не знает, что женщина не прощает только одного: когда ей отвечают «нет!».

— Женщина, но не девочка. Это ремесло провинциальных гастролеров — увозить с собой по окончании сезона полоротых подростков-гимназисток…

— Да, разумеется, вы правы…

Ей хотелось дать цикл эллинских поэмок. После Сафо — Фрину, Аспазию и завершить все — богиней, которой еще ребенком она писала маленькие восторженные гимны — Кипридой… Я думаю, что из-под ее руки вышли бы чудесные жемчужные по алой парче вязи. Но судьба забросила ее сначала в Москву, а потом она вышла замуж. В Москве ее встретил головокружительный успех. Мрачный Лиодор Пальмин, один из тех поэтов, слава которых ограничивается забором своего курятника, писал мне:

— На нашем горизонте новая звезда. Ваша питерская Мирра Лохвицкая — птичка-невеличка, от земли не видать, а тот же Вукол Лавров читает ее и пузыри на губы пускает. Начал бы ее в «Русской мысли» печатать, да боится наших Мидасов-Ослиные уши, чтобы те его за отсутствие гражданского протеста не пробрали. Вы ведь знаете, Москва затылком крепка…

И т. д.

Прошло еще несколько времени, я уже не видел ее. Мало жил

в Петербурге. То и дело судьба кидала меня из одного знойного края в другой, в паузах приходилось работать, не складывая рук. В жизни каждой женщины два периода: до замужества и после. Обещания первого никогда не исполняются вторым. Как много способных и талантливых девушек — и непонятно, почему так мало даровитых жен. Неужели все свои способности они разматывают в супружеских постелях? И стоят ли в самом деле тюфяки и перины таких жертв? Может быть, семья (не очень-то дорого это удобрение человечества) и выигрывает, но высшие интересы культуры и искусства страшно теряют. Может быть, с Миррой Лохвицкой и не случилось бы этого: противореча законам природы, из бархатной и яркой солнечной бабочки она не обратилась бы в тяжеловесную прожорливую гусеницу, но жизнь ее оборвалась рано, внезапно и трагически. Об этом когда-нибудь потом.

Наша «звезда», еще не разгоревшись, погасла…

Я до сих пор не могу равнодушно вспоминать ее. Не в силах — прошли уже годы — помириться, не погрешу, сказав — с великою потерею для нашей литературы. Каждый раз, читая ее стихи, я вижу ее в уютной комнате отеля, в углу оливкового бархатного дивана, свернувшуюся, как котенок, под неровным огнем ярко пылавшего камина. Под этим светом, казалось, в ее прелестных глазах загоралось пламя… Мне слышится ее нервный, нежный голос… Звучат строфа за строфою, увлекая меня и часто Вл. Соловьева в волшебную поэтическую грезу.

В какие светлые миры она умела уносить тех, кто ее слушал!

И как прелестно было все так и мерцавшее лицо, смуглое, южное, золотистое!..

Я не был на ее похоронах.

Я хотел, чтобы она осталась в моей памяти таким же радостным благоуханным цветком далекого солнечного края, заброшенным в тусклые будни окоченевшего севера.

Неудавшаяся дуэль

I

Из героических нравов печати в прошлом веке.

И не в конце его, а в 1875 г.: как я был секундантом на литературном поединке.

Два юных петуха — поэт и критик — вызвали один другого.

Поэт потом приобрел имя. Попал, вместо хрестоматии, в какие-то сборники для легкого чтения и декламации. Нацеливался даже в Академию, но ему предпочли Голенищева-Кутузова и П. И. Вейнберга (за скверный перевод Гейне). Критик только сам себя считал таким. И фигурой, и своими статьями он был короче куриного носа. Раз напечатав: «огромадную, мой дорогой!» рецензию в сто двадцать строк (до тех пор у него были такие, но без ста), он всех нас довел чуть не до самоубийства. Мне, например, он прочел ее три раза — из них один на улице, на углу Морской и Гороховой, к вящей потехе собравшихся ротозеев.

— Ничего! Пусть и народу перепадут крупицы…

Великодушничал он.

Кого ни встретит:

— Вы читали?

— Что?

— Так, знаете. Я о Тургеневе, пора этих бонз ставить на свои места. А то забрались под образа и воображают. Вот я вам сейчас.

И, взяв вас за пуговицу, не отпускал, пока она не отрывалась, а он не доходил до «ударного аккорда».

«Г. Тургеневу, разумеется, не понравятся мои указания — но мне все равно. Я в высокой степени обладаю мужеством собственного мнения. И автор только выиграет, прислушавшись к нему. Я смею думать, что моими словами думает весь читающий мир России».

— Слушайте, вы или дурак или нахал! — ответил ему один из уловленных им слушателей в ресторане Палкина — тогда на углу Малой Садовой и Невского.

— И то и другое вместе! — буркнул точно про себя евший бифштекс сосед по столу.

Критик разбил бутылку с красным вином о его голову и попал в часть.

Еще недавно его знала вся служилая Россия. Революция смела его со многими такими же, но до ее рокового набата он распоряжался громами и молниями одного из министерств.

Сидел ли он в государственном совете — не знаю, но что кресло ему там было уготовано провидением — наверно! Во всяком случае, в чине действительного тайного он, подобно ночному небу, сверкал всевозможными российскими и иностранных держав орденами и звездами, вплоть до перуанского первой степени Зеленого попугая, бразильской обезьяны и нильского крокодила, даже на тех местах, кои простым смертным полагаются для сидения и которых лишены только херувимы. Кажется, впрочем, что на первых порах его даже и переворот не сбросил с чиновного Олимпа. По крайней мере, я его не встречал среди поверженных титанов. Разве только он лишился всевозможных аренд. Да ему их и не надо. Он и без них хорошо набил себе зобок.

— Что вы поделываете? — спрашиваю его год назад.

— Во блаженном успении… Мы видь теперь товарищам не нужны-с. В Керенские не годимся, ибо язык дан нам не для блуда, а для соответствующих о государственных пользах докладов… И экзаменов мы по Циммервальду и Киенталю не держали. Впрочем, времени не теряю.

— Например?

— Возвращаюсь к старым мутонам…

Выдержал многозначительно паузу, поднял брови и выпятил губу…

— Пишу-с…

И, сделав зайчика, пухлыми пальцами ткнул меня в бок.

— Значит, обратно в литературу?

— Значит… Пора! Вроде отдохновения… Как Цинциннат.

И вдруг зловеще сверкнул глазами.

— Пи-и-шу-с! — погрозил он кому-то интонацией и перстом в пространство. — На-апомню о себе. Многим весьма напомню. Я ведь каждый вечер, отходя ко сну, занотовывал вкратце. Встречи с важными обоего пола персонами. И теперь сии голые скелеты облекаю в соответствующие словесные тела и художественные краски. И вот, не угодно ли им передо мною: к расчету стройся! Коемуждо по делам его. Могу сказать одно: весьма и весьма многим не понравится, ибо я прежде всего нелицеприятен. За пятьдесят пять лет прохождения в классных чинах накопилось. Я ведь не только с сановниками, но и с царями беседовал. Впрочем, и о малых сих не забываю. И малым сим у меня в ковчеге ноевом отведено надлежащее место, так сказать, для фона, на коем будут и настоящие фоны. И расхохотался, довольный собственным остроумием…

— Да, и настоящие фоны. Можете воспользоваться — дарю!

Свеликодушничал он: бери-де, мне не жалко!

— Благодарю вас. Я и своими фонами торговать могу.

— Да, да. Обо всех, благополучно пасомых. Так что и вас не забыл. Нет-с, не забыл!

— В виде фона или в фоне?

— А уж вы это увидите!

— Ну так я вас раньше!

Сановник обеспокоился, сделал губы пупком и нежно:

— Памятую нашу дружбу. Как же, как же!.. О, юность, это ты! А вы тоже мемуары?

— Нет, так при случае… Записную книжку имею.

— Для печати?

— И для печати.

— Ну так я вам (так сказать, для точности и конфиденциально!) свое жизнеописание. Чиновник мой, под моим наблюдением, составлял для некролога. А то репортеришки эти врут все. Согласитесь, неудобно это и не соответствует…

— Похороним по первому разряду?

Подумал — обидеться? Но решил — не стоит. Но и в свою очередь пожелал уязвить меня.

— А вы, джентльмен, все строчкой живете?

— Нет, товарищ, и листом, и фиксом.

— А велик ли ваш фикс?

Я сказал.

Выпучил на меня глаза.

— Неужели? Да это ежели, например, товарищу министра или самому министру. Весьма, весьма прилично. Однако как литература-то нынче. Ну, а что, например, Горький получает?

— В «Русском Слове» ему, случалось, по три платили.

— Копейки?

— Нет, рубля.

— За строку?

— Да… И его еще деньгами не купишь. Не каждому даст. А то бы нашлись и по десяти ему отвалили.

Сановник было взвился, но вдруг плюхнулся грузно и увял.

— Да, вот оно как. А в наше-то время!.. что же, мы хуже других были? А ведь всего пятак за строку, да и то больше по счетам, а помните и трех копеек, случалось, наплачешься. Ведь какой козырь был Всеволод Крестовский, а ему Краевский за «Трущобы» шестьдесят за лист. Только потом себе восемьдесят выплакал. А Слепцов… Или Решетников?

II

Так вот, в ожидании воспоминаний («И моя жизнь!», дешевле он не согласен) сановника обо мне, и я о нем — маленькое «морсо».

Он как-то обидел поэта двумя строчками и, надо отдать ему справедливость, несуразными:

— «Эдак каждый лягушонок, квакающий в болоте, вообразит себя Шиллером».

Поэт назвал критика:

Апеллесова осла
Непотребное копыто.

Дело было после веселого обеда, на котором участвовали юморист Черниговец и полузабытый ныне Иванов-Классик. «Непотребное копыто» разорвал ворот собственной рубахи, швырнул тарелку на пол и пожелал быть на ее месте лягушонку. Тот, в качестве восторженного поэта, взял целой октавой выше. Разбил стакан, попробовал разгрызть осколок и изъявил неукротимое желание выкинуться в окно, но приступил к этому столь медленно, что приятели успели удержать несчастного, хоть дело было в первом этаж. Критик и тут не оставил его в покое.

— Господа, бросьте его! Это он по счету платить не хочет.

А Черниговец добавил:

— Первый раз вижу, чтобы поэт захотел быть выкидышем. Вспомни жену и детей! — патетически закончил он.

— У меня нет жены и детей.

— Не отчаивайся, будут и рога тоже.

Решили драться.

Подобное оскорбление могло быть смыто только кровью.

— Пусть кровь прольется! — мурлыкал из «Гугенотов» поэт.

— Я из револьвера не умею! — недоумевал критик.

— Стреляй из пушки! — советовал Черниговец.

— Выбери единорог! — поддержал Классик.

— Какая же дуэль с револьверами? Нужны пистолеты.

— Лучше всего Кухенрейторовские. Только где их найдешь?

— У меня есть! — вспомнил я некстати.

— Ну так, значит, тебе и быть в секундантах.

Драться решили ехать в Тулу.

Почему в Тулу?

Критик коснеющим языком:

— Желаю в Тулу. К родителям. Пусть меня похоронят с прадедушкой. Он генерал-аншеф был и на всех портретах в регалиях… На рукавах вот этакие кружева. И в лице — величие… Я, говорят, на него похож.

— Как свинья на апельсин.

— Это кто сказал?

Черниговец скромно разглядывал красное вино.

— Кто это сказал?

— Почему ж ты, напр<имер>, не апельсин? Фрукт и вкусный, и полезный.

— В Тулу — так в Тулу. Согласен! — великодушничал поэт.

— А тебе зачем Тула?

— Там оружейный завод и… пряники. Желаю в Тулу… Притом трудная рифма.

— А по-моему, — предлагал Иванов-Классик, — лучше в Коломяги. Там великолепные сосиски.

— И отличное пиво! — заметил С. В. Максимов.

— Я родился в Туле…

— Как самовар.

— И умру там.

— Разве самовары умирают?

— Что-о? — И критик налетел на поэта.

— Ничего.

— То-то ничего.

Оба с минуту смотрели друг на друга настоящими петухами…

III

Чтобы не внушать никому и никаких подозрений — молодежь любит таинственное, — секунданты решили ехать отдельно с ранним поездом. Враги — со следующим. Мы должны были в Туле устроить всю инсценировку трагического спектакля, найти место, пригласить хирурга, встретить противников и прямо доставить их на роковое поле. Потом мы подробно расспрашивали и поэта и критика. Первый весь вечер писал стихи, где смерть почему-то рифмовалась с папертью, а Тула со «стрелой пронзительной, как молния, из дула». Кончив этот «последний вздох молодого певца», он счел себя вполне подготовленным к переселению в заоблачный Олимп. Только умолял вскрыть его непременно, взвесить мозг, а сердце в золотом сосуде отправить в Академию Наук.

— Зачем это?

— Чтобы им было стыдно:

Толпа презренная, что скажешь ты на это,
Когда, прекрасное, в сосуде золотом —

Оно войдет во храм и знания, и света,
Презренное тобой на торжище пустом.

Особым примечанием рекомендовалось все эти стихи предложить А. А. Краевскому не менее как по четвертаку за строчку и весь гонорар послать в комитет, который, несомненно, будет открыт на предмет постановки монумента в память безвременно угасшего поэта.

Критик писал: «Моя последняя воля». Он рекомендовал своим потомкам (очевидно, по боковым линиям, потому что по прямой у него их не было) всемерно стоять за свою честь и не жалеть ради нее самой жизни. Разумеется, при сем ссылка на незабвенного генерал-аншефа.

— Собственного палача держал в деревне. Водил его в красной рубахе и красных сапогах, — объяснял он, подавленный фамильным величием, Иванову-Классику и немедленно принимал вид столь неистового благородства, что тот боялся ослепнуть.

После этого враги заснули спокойно, и солнце, заливавшее их меблирашки золотым светом, было несомненно потрясено их равнодушием к жизни, почему и закуталось облаками. Ведь один из них непременно должен был умереть, а то оба вместе.

Во цвете лет.

Столь общая русской литературе судьба!

И, даже не погасив авансов.

IV

В вокзале враги встретились.

Поэт окинул критика взглядом смертельной ненависти. Тот вспыхнул и в упор уставился на него… Нос к носу и молчок. Кругом собралась толпа. Обеспокоился жандарм: что за представление?.. Наконец, поэт не выдержал:

— Чесарь Борджиа.

— Что-с?

— Имею право… Из истории… Чесарь Борджиа.

— Сам дурак.

Еще бы минута — и от обоих остались дребезги, но дали третий звонок.

Они ринулись в разные вагоны III класса.

Поезд шел медленно. Предстояли томительные сутки, а то и больше —

Ожидания и смерти!

Поэт попал соседом к благожелательному иноку, рекомендовавшемуся, узнав, с кем он имеет дело:

— Я тоже из писателей, ибо, не окончив духовной семинарии, поступил в Управу благочиния, в коей не одна стопа исписана моими: а почему, о том следуют пункты. Ангельский же чин приял, дабы избегнуть пьяного беса, столь же настойчивого и липкого, сколь и банный лист, о коем гласит народная мудрость. Ах, сколь человеческая природа слаба вообще, — а у нас в особенности. Ибо над нами, которые, значит, чернецы, дана ему власть не только сугубая, но и трегубая. Прозорливцы свидетельствуют, что даже над причастного чашей они, как комары, витают, черненькие, тонюсенькие, малюсенькие, поганенькие, и причастнику, если он из монасей, в рот норовят. Сколь наглы и бесстыдны! Светские, не ведая сего, на черноризцев козлоглаголят…

Критику в бытовом смысле тоже повезло.

В Москве села к нему толстенная баба с мокрыми подмышками и сейчас же, открытая душа, сообщила ему, что ездила туда лечиться потому, что на ноге образовалась у нее рана этак с серебряный пятачок. Дома ее травили купоросом, она в гривенник выросла. Присыпали сулемой — ан целый пятиалтынный вышел. А на Москве у этого самого лекарского генерала, которому там все купцы подвержены, и даже первая гильдия у него на короткой веревочке бегает и никак без его воспособия помирать ей не полагается, тоже не полегчало. Рана-то в целый четвертак объявилась. А теперь так нудит, так нудит, что, пожалуй, ее и полтинником не накроешь.

— Что ж, вам же лучше.

— Почему, что?

— Да как же! До Тулы доедете, у вас из пятачка целый рубль будет.

— А вы не доктор?

— Нет.

— Ей-Богу?

— Что ж, мне вам документы показывать, что ли?

— А то посоветовали бы. Лицо у вас совсем докторское. Значительное… Строгое.

— Это потому, что я критик.

— Чего-с?

— Критик, понимаете.

Она уставилась на него и жалостливо покачала головой.

— Ну, что делать. И такие бывают… Уж если Бог вас определил. Против него, батюшка, не пойдешь. Как вы сказываетесь?

— Критик.

— У каждого свой крест. И критику есть-пить надо. А я думала — доктор. Показать хотела, как она, подлая, разверзлась.

V

В Москве поэт к буфету.

Кратко и выразительно:

— Водки!

Не успели ему налить, как рядом столь же решительное:

— Водки.

Поэт оглянулся: нос к носу критик.

Оба фыркнули, как коты, нежданно встретившиеся на крыше у роковой трубы, где так аппетитно пахло легкомысленной Машкой.

И еще более разозлились. Но отойти нельзя было. Оставшийся мог подумать, что другой струсил. Поэтому опять повторилось:

— Водки!

И рядом:

— Водки.

До третьего звонка.

На первой станции — то же, но в повышенном диапазоне!

Вернувшегося поэта — допрашивал инок.

— Возможно ли благодетельному иноверцу выйти в царствие небесное?

К критику тоже:

— А может, вы по докторской части, только что обнаружиться не хотите?

Слава Богу, на следующей станции опять буфет.

— Водки.

И опять рядом:

— Водки!

Пили уже молча. Друг на друга не фыркали.

— Какая подлость, водка теплая!

Бросил в пространство, неведомо кому, поэт.

— Свинство! Деньги берут, а подают дрянь.

В вагоне:

— Как вы думаете: домашние животные, которые, например, скоты, будущей жизни неймут?

В вагоне рядом:

— От живота лучше всего банный веник, и нужно взять непременно-чи после мужа. Как нахлещется, листья сорвать,

вскипятить в водке и дать постоять ночь. И, значит, по утрам натощак принимать, смотря по аппетиту, но во благовремении и с молитвою. И за каждым глотком на все четыре стороны с поклоном: гони, гони, лист, чтобы живот был чист.

Остановка.

— Водки!

— Водки!

— Подлость — и чокнуться не с кем.

— Скучно!

По второй скрестили, как рапиры, мрачные взгляды.

— Кажется, из вежливости можно бы чокнуться?

— Это ведь ни к чему не обязывает.

Чокаются.

— «Оленя ранили стрелой».

— Это к чему?

— Так, вспомнил Гамлета.

— Я, во всяком случае, не Лаэрт.

— А водка, черт ее знает!.. Точно ее в солдатских сапогах держат.

— В Москве — слеза! И как лед. Прямо северный полюс плачет.

— Особенно, если икра!

Спохватились.

Смерили друг друга молниеносными взглядами и в вагоны. На следующей станции поэт ждет, когда явится критик.

— Водки!

— И мне.

— Ну, разумеется.

Подозрительно:

— Что именно?

— Говорю — не одному же пить! В одиночку только пьяницы.

— А мы совсем нет.

Первые слезы умиления туманят помутившиеся глаза.

VI

На Тульской станции секунданты.

За четверть часа до поезда — благосклонный полицеймейстер.

— Господин писатель Иванов-Классик?

— Да…

— А Немирович, который Данченко?

— Вон он. Василий Иванович! По твою душу!

— Очень рад познакомиться. В свободное от службы весьма почитываем. Люблю, черт возьми! За стаканом чая. Душа в империях и эстетика парит, хотя и в провинции. А господин Александров Николай Александрович тоже писатели?

— Я.

— То есть так приятно!.. — И лестно… Хоть сейчас литературный вечер в пользу вдов и сирот. Цветы, так сказать, книжного рынка.

— А который из вас будет «Год на севере», то есть Сергей Васильевич Максимов?..

— Я.

— У меня телеграмма в полной исправности от Николая Александрова. По долгу благородного человека предупреждает полицию об имеющей быть дуэли. Мы хоть и в Туле, но тоже бдим о безопасности граждан. Скромно и тихо, без неприятностей. Только запротоколим для оправдания перед начальством и пожалуйте потом к нам в купеческий клуб. В дворянском чище, но кухню-с нельзя сравнить. Повара от генеральши Хлобыстовкой переманили. Рекомендую! Особенно простые, патриотические блюда: бараний бок с кашей, сальник или колдуны по-литовски. Александра Сергеевича Пушкина и Михаила Павловича Розенгейма не надо! Красота! А где же ваши Отеллы?

— Должно быть, сейчас с поездом.

— Ну вот и прекрасно! Ефремов и Столбунов?

Бутыри вытянулись — не дышат.

— Можете уйти. Господа привилегированные! Не понадобитесь. Марш! А знаете, в военном училище тоже стихи писал, обличительные! Далеко бы пошел, потому что усердие было, но женился в Радоме на одной пани гоноровой и вот в полиции! Но не жалуюсь! Отнюдь! Ибо везде можно свое благородство показать. Я так считаю, что дворянин в офицерских чинах может быть полезным членом общества и при дальнейшем прохождении службы даже его украшением. А я на линии-с. Сейчас полицеймейстер — а при отличии и в губернатора могу надеяться. Вожделеть не воспрещается и ежели при вожделении — быстрота и натиск — все остальное приложится.

Несколько минут, и окутанный дымом поезд медленно подошел к платформе.

Полицеймейстер — грудь вперед и в глазах молния.

Стал официален и строг.

— Господин Александров! не угодно ли будет указать ваших клиентов, виноват — протеже?

Народ высыпал из вагонов.

Мимо нас валила толпа с чемоданами, саками, картонками.

Но… ни поэта, ни критика.

— Вы их не пропустили?

— Нет. Куда они могли деваться? Неужели в Москве застряли? От них хватит.

— А то и совсем из Петербурга не выезжали!

Пошли по вагонам.

Табло: критик и поэт мирно почивали в дружеских объятиях.

Ваше высокопревосходительство (по старой табели о рангах), вот вы еще собираетесь обо мне, а я уже вас на булавку и в свою коллекцию. А назови я вас — пожалуй, и читатель бы ахнул! Кто же вас не знает? Немало тоже почленовредительствовали на своем веку, или как ныне принято: на славном посту.

Мои встречи с Некрасовым

Оглядываясь в далекое прошлое, вижу в его туманных далях бесконечную галерею отошедших от нас властителей дум. Из сплывающегося фона пережитых былей едва ли не самым отчетливым выступает передо мною характерный облик Н. А. Некрасова. И сейчас в моих ушах звучит хриплый, как будто простуженный голос поэта и внимательно всматриваются его пристальные глаза, угадывающие во мне самому мне неясное. Под жесткими усами чуть скользит недоверчивая улыбка, смягченная снисходительностью к маленьким слабостям других, а может быть, и трудною памятью о себе самом.

Я уже напечатал в «Вестнике Европы» «Соловки» и начал в «Деле» очерки «У океана». Мои первенцы были хорошо приняты литературным миром. Это окрылило меня. Захотелось проникнуть в «Отечественные Записки», где за год перед тем Демерт уже включал в статьи о русской провинции выдержки из моих писем. В то время мы, молодые, с тревогой, робостью и неуверенностью стучались в двери этой редакции, где заправилами сидели сами «боги»: Некрасов, Щедрин, Михайловский. Помню, как крупные, уже признанные таланты, вроде Глеба Успенского, поминали царя Давида и всю кротость его, ожидая свидания с грозным Михаилом Евграфовичем. Ведь Щедрин подчас был так суров и не стеснялся не только с начинающими. Более того, с ними у него суровость была скорее ласковая, нужно было лишь уловить ее: брови хмурились, а глаза смеялись. Но с генералами от литературы он совсем не церемонился. Редакторского респекта к модным именам и авторитетам у него не было и тени. Никогда не мог я забыть, как растерялось одно такое восходящее и модное «светило», когда, теребя его рукопись нервными пальцами, сатирик вдруг огорошил «светило», не стесняясь присутствующими, своим громогласным басом: «Ну, батюшка, вы тут столько набоборыкали». Я, признаться, вчуже смалодушествовал и направился было к дверям, да наткнулся прямо на Николая Алексеевича. Он угадал, в чем дело, и удержал меня за локоть, смеясь: «Погодите, мы прочли ваши очерки „За северным полярным кругом“. И ему (кивок в сторону Щедрина) понравилось».

— Понравиться-то понравилось, — сердито забасил опять Салтыков. — Да уж очень кругло пишете. Ни на один сучок не наткнешься. А только, чего это вы со всех колоколен зазвонили? Довольно бы и с одной! Сколько литературных просвирен взбудоражили. Не на пожар, слава Богу! И «Вестник Европы», и

«Дело», и «Неделя», и «Голос».

Некрасов вступился.

— Нет, это он хорошо. Сразу имя себе сделал.

Щедрин не унимался.

— Сделал-то сделал, но нельзя же так. Точно с луны свалился, проломил крышу и с целым грузом рукописей. Сидят почтенные Стасюлевичи, истово журчат тихою беседою, как по нотам. И вдруг этакое чудище — шарах на головы… Получайте. Караул закричишь!

* * *

Редакторы в наше время не стеснялись. Я помню, как тот же Щедрин гильотинировал один слишком затянувшийся роман, кажется, Гирса. Роман не понравился Михаилу Евграфовичу, он просил автора прикончить его, а тот, наоборот, пообещал еще две полновесные части. И вдруг в новой книжке журнала с ужасом прочел описание грандиозной стихийной катастрофы, в которой безвременно погибли все его действующие лица…

…Надо сказать, что Н. А. Некрасов ко всему, что носило печать таланта, относился не только внимательно, но и трогательно. Особенно если молодой писатель был беден, а кто же из нас тогда был богат? Он для таких являлся не издателем, а скорее товарищем, собратом, если хотите, опекуном. Время было тяжелое. Капитал еще не врывался в печать, и самые популярные впоследствии издания начинались с такими ничтожными средствами, с какими нынче не выпустишь и тощей книжки. Случалось для очередного номера закладывать женины серебряные ложки. Разумеется, это не относилось к «Отечеств. Запискам», «Вестнику Европы», «Делу» или «Русскому Вестнику», но и у них бывали затруднительные минуты. Ведь впоследствии средней руки автор за газетный фельетон получал больше, чем, например, Достоевский за печатный лист в мое время.

Н. А. Некрасову не легко достался издательский успех. А ведь он помимо громадного таланта обладал еще практической сметкой, какой не могут похвалиться и заправские коммерческие дельцы. Это и помогло ему создать не одно крупное литературное предприятие, не скупясь с сотрудниками, а широко по тому времени тратя на них подписные тысячи. Он никогда не мог забыть пережитых им былей. Первые годы его литературной деятельности в Петербурге отмечены тяжелыми лишениями, даже нищетою. Я могу здесь привести со слов Николая Алексеевича страничку из мартиролога некрасовской юности.

Был скверный осенний вечер в Петербурге. Я встретил поэта на набережной Невы у Зимнего дворца. Ни красок, ни света, все темно и серо кругом, дали казались намеченными карандашом в тумане. Николай Алексеевич стоял, опершись на гранит у Зимнего Дворца. Внизу грузно плыла свинцовая Нева. Холодом веяло. Он оглядел меня и усмехнулся:

— Как вы сейчас напоминаете мне меня самого много, много лет назад. Что, у вас нет теплого пальто?

— Есть. Только я не люблю кутаться.

— Ну, я бы тогда закутался с удовольствием. У меня не один такой вечер в памяти. Позади нетопленая квартира, за которую несколько месяцев было не плачено. Так же я здесь вот стоял и смотрел в ту сторону через реку. Там огоньки мигали. И думалось — завернуть в простыню «Сто русских литераторов» Смирдина, навязать себе на шею и бултыхнуться в тусклую Неву. Трудные были годы… Каторжные… Много они в моей душе вытравили и здоровья отняли не мало.

— У вас отец был богатый.

— Богатый? Нет. Средства, как у средней руки помещика, да… только мне легче было бы жернов на шею… Я мать любил… — оборвал он свой рассказ.

Я думаю, его чуткость к чужой нищете шла именно с этого времени. На себе испытал ее унижения. Часто безжалостный и суровый даже со своими богатыми друзьями — он совершенно менялся, встречая нищего писателя. Мне известны случаи, когда он помогал таким во враждебном ему лагере. Анонимно. Я думаю, они никогда не узнавали — откуда сваливалась к ним благостыня. Раз он через меня послал крайне нуждающемуся мелкому юмористу, лично его преследовавшему когда-то довольно глупыми стихами в благовременно угасшей «Занозе». И глупыми, и, правду сказать, подлыми.

— Откуда вы? — встретил меня в воротах дома, где жил тот.

— От ***

Поморщился.

— Охота вам с такой свиньей знаться.

— Нуждается… В доме ни копейки. Больной. Жена плачет.

— Да? Пойдемте вместе…

Молча прошел до своей квартиры в доме Краевского на Литейной.

— Зайдите. У него дети, — говорите?

— Двое…

Нахмурился.

— Дрянь он большая… А все-таки… Жена ни при чем… Вот что, садитесь на извозчика и слетайте к нему.

— Зачем?

Вложил в конверт две сторублевки, — по тем временам деньги. Ведь в лучших случаях платили по пятидесяти с листа средней руки писателям.

— Только дайте мне слово: ни гу-гу от кого… Если проговоритесь, — никогда не прощу вам. А через неделю вы ему еще отвезете.

Таких анонимных пособий он немало рассылал. Часто даже не через своих, а был такой лакей-доверенный А. А. Краевского Гаврила, известный всему литературному Петербургу. Надежный человек. Некрасов в деликатных случаях пользовался его услугами. Смешно было, когда знавшие Гаврилу потом являлись благодарить ничего не понимавшего Андрея Александровича Краевского, человека в денежных отношениях точности казначейской, но и неподатливости тоже казначейской.

— Не Гаврила же им помогает? — разводил он руками.

Я мог бы назвать ряд и крупных и малых писателей, которых таким образом не раз товарищески выручал Н. А. Некрасов.

Что за чудесный кружок собирался у Некрасова! Мне редко приходилось бывать там. Я бродяжничал по всей России, но не могу не вспомнить и не упомянуть добрым словом одного из благороднейших наших поэтов, Алексея Николаевича Плещеева. Передо мной до сих пор, точно вчера было, стоит этот друг Некрасова и его ближайший сотрудник по редакции. Не было человека в нашей литературе, который бы так сердечно, я бы сказал, так чутко относился к молодым, еще не печатавшимся поэтам, раз в их первых пробах он замечал искры настоящего дарования. Он их холил, как редкое, нежное, тепличное растение, требующее пристального ухода. Сколько он сделал для Надсона, для Гаршина!

Сын Плещеева, Александр Алексеевич, наружностью очень напоминает отца. Только тот был выше, монументальнее. Тип старинного русского боярства, в его лучших образчиках. В его фигуре, на его лице лежал отсвет внутреннего благородства. Якоби, Маковский, да не только эти художники охотились за ним, но Алексей Николаевич решительно отказывался позировать им. Не любил показу. «Только этого недоставало, чтобы я являлся перед публикой в бутафорских костюмах». Н. А. Некрасов говорил о нем: «У него тоска по гению. И он его всюду ищет». У старых писателей было это. Даже у А. С. Суворина. Я помню, каким для него явилось праздником, когда А. Н. Бежецкий (а отнюдь не Д. Григорович) открыл Америку в «Осколках» и «Будильнике» — тогда еще молодого Чехова. Целую неделю ходил именинником и говорил Буренину:

— Берегите его. Не давайте в обиду, за него и вам много простится.

* * *

В Некрасове часто замечалось два человека. За письменным столом, в редакции — один. Друг и товарищ писателя, он в Английском клубе или со своими чиновными, богатыми и аристократическими друзьями казался совсем другим. Двуликий Янус. Но хорошею стороною обращенный к нам, ко всем, кто в нем нуждался, до последнего типографского рабочего, рассыльного. И в нем это не было напускное, личина для публики, для рекламы, нет. Тут он являлся самим собою. И в этом его бы не узнали клубные завсегдатаи, видевшие его за зеленым сукном. Столько лет прошло со смерти Николая Алексеевича, что я, не оскорбляя его памяти, могу остановиться на этой стороне его жизни.

Враги, да сказать правду, и друзья часто обвиняли его (за глаза разумеется) в том, что он крупно играет, более того, что играет наверняка. Лицемерно оправдывали его заботой о журнале. И не знаешь, кто был подлее в этом соревновании подлости и клеветы: люди, близкие к нему, или посторонние. Выросший в старой помещичьей среде, не в идиллии тургеневского «Дворянского гнезда», а скорее в аду щедринских героев, под лай собак, свист арапников, рыдания замученных женщин и бешеные крики игроков — Некрасов был человеком великих, неукротимых страстей, которому был нужен головокружительный риск, опасности, сбивающие с ног ощущения. Где было их искать в то время, да еще ему, связанному серьезным и благородным делом таких журналов, как «Современник» сначала и «Отечественные Записки» потом?

Отводом бунтующей, неукротимой силе и являлся вечером Английский клуб с целыми состояниями на зеленом сукне, с борцами на жизнь и на смерть кругом. В этом отношении на моей стороне являются великие тени Тургенева и Достоевского. Иван Сергеевич не любил поэта. Жизнь поссорила их. Федор Михайлович относился к нему с остроболезненною подозрительностью и со сложным чувством вражды-любви. Но и тот и другой негодовали, когда злорадные клеветники в их собственных лагерях выдвигали против Некрасова ставшее банальным от частого повторения гнусное обвинение.

Тургенев, выросший сам в помещичьей среде и наблюдавший родственные Некрасову типы, называл его «головорезом

карточного стола». Вот подлинные, хорошо запомнившиеся мне слова великого романиста: «Некрасова не выигрыш тешит. Ему нужно или самому себе сломать голову или в пух и прах разбить другого. Своего рода Малахов курган. Там благородная игра со смертью, а тут тоже, если хотите, смертельный риск остаться нищим».

Достоевский говорил иначе. Он сам был азартный игрок и, вспоминая Некрасова, точно оправдывался. Я помню, на одном вечере у Аполлона Николаевича Майкова он схватил за локоть брата его, Леонида, дергаясь и зло сверкая сощуренными глазами, точно в истерическом припадке выкрикивал: «Дьявол, дьявол в нем сидит! Страстный, беспощадный дьявол! Одержимые (он уже переходил на множественное число) — они всегда такие. И чем сверху спокойнее, тем внизу грознее огонь пышет, лава вскипает. Ему померяться, чья возьмет, — нужно. Другие из такой страсти убивают, а он направо и налево мечет. Не будь этого — его бы в клочья разорвало, выжгло бы всего… Да-с».

Человек великих страстей, отводящий душу в риске, — таким в откровенные минуты рисовал его и Н. К. Михайловский, тоже не любивший правильных и соразмерных людей, от которых за версту камфарой и нафталином пахнет. Он, Некрасов, умел терзаться перед самим собою, исходя кровью покаянных стихов, в бессонные ночи. Тот же Н. К. Михайловский и по тому же поводу, возмущаясь клеветами на Н. А. Некрасова, говорил при мне С. А. Венгерову: «Нельзя таких, как он, мерить обыкновенным аршином. Выше штанов не подымешься. Ни до головы, ни до сердца не доберешься».

Как современник и почитатель Николая Алексеевича, я должен ответить еще на одно обвинение, которое не раз слышал в свою жизнь великий покойник. Сам он на него не отвечал, принял страдальчески на себя, хотя не раз и сгибался под его тяжестью. В этом отношении он выручал любимую женщину, неповинный в ее опрометчивости, но всецело ответствуя за нее. Ему легче было самому корчиться на дыбе, но не бросить на жертву толпе легкомысленную красавицу, которую он так мученически любил в дни своей молодости. Я говорю о капиталах поэта Огарева, которые она поручила какому-то проходимцу М., а тот или целым рядом спекуляций их растратил, или просто присвоил. Ему верили долго и когда, наконец, потребовали отчета — от них ничего не осталось. Руки Некрасова были чисты. Я бы на поминках поэта мести и печали не упоминал об этом, если бы недавно в печати опять не выплыла на поверхность эта старая клевета.

Много повинен в несправедливом обвинении Некрасова и

Тургенев. Любя Огарева и ненавидя Некрасова, он слепо валил с больной головы на здоровую и клеймил Николая Алексеевича, не стесняясь в выражениях. Но ему, психологу и самому так благородно понимавшему мученичество любви, следовало бы глубже проникнуть в душевную драму Некрасова. Я думаю, в данном случае «преступления» Некрасова являются его величайшим оправданием перед высшей справедливостью. Он не только принял на себя чужую вину, но безропотно всю свою жизнь до самой смерти нес этот крест, ни разу не обмолвившись в свое оправдание и в ее обвинение, в обвинение когда-то так нежно и страдальчески любимой женщины. У него как-то (дело шло о похожем на это факте) вырвалось:

— У кого плечи сильнее, тот и волоки ношу. Нечего сбрасывать ее на слабую спину. Мы только согнемся. А ее она раздавит. И молчи!

И он молчал до конца. Гордо молчал. Как молчал Ив. Серг. Тургенев, восторженно любя хотя и гениальную, но не достойную его женщину. В то время умели любить, даже в медвежьих углах дореформенной и далеко не романтической России!

* * *

Некрасов не любил давать начинающим советов, как и что писать. Он говорил: каждый должен вырабатываться сам. Учись ходить без посторонней помощи. Не оглядывайся на других. Сам спотыкайся и, разбивая себе нос, не рассчитывай, что сосед вовремя схватит тебя под локоть. Учителя у тебя одни; твой талант и наблюдение. Старайся видеть больше. Именно — видеть. Читатель смотрит — а ты видишь. Чтобы наблюдать, надо также учиться. Не кляни неудачи, они лучшие профессора. Неизвестно еще, что полезнее — чтение плохих или образцовых вещей. Во всяком случае, первое тоже приносит свои плоды чуткому писателю: в каждом из нас заложены минусы. Ты видишь их ясно у плохого писателя и, если в тебе нет самовлюбленности, скоро, благодаря дурной книге, заметишь и в своем поле скверную траву и выполешь ее.

Как-то Тургенев советовал мне: дайте вылежаться каждой вещи хоть год в письменном столе. Встретясь с Некрасовым, я передал ему этот совет. Он усмехнулся: «Ему хорошо. Этот-то год он и без гонорара проживет. Дворянское гнездо. Для ювелирной работы средства нужны. Да и потом, что сегодня прекрасно и вовремя подано, завтра оно поблекнет, простынет и как в собачьей плошке салом покроется».

Но раз напечатанное в периодическом издании — для отдельной книги всегда надо переработать. Журнал забывают, книга будет жить. Находя у меня слишком много ярких красок, он советовал: «Вам надо писать, как японские живописцы свои картины. Спросите у Гончарова. Он как-то рассказывал при мне. Они не жалеют колеров и резкостью очертаний не пренебрегают. Но окончив картину и дав ей высохнуть — нежнейшей губкой начинают смывать краски. Теряется подчеркнутость линий и блеск. Все как будто подернуто туманом. К нашей северной природе это идет!»

И вскоре, сам себе противореча, он говорил мне: «Нет серой жизни и серой природы, а есть серые люди».

Где-то я читал, что Н. А. Некрасов не любил Пушкина. Это ложь. Свидетельствую об этом. Поэт гражданской скорби не раз и не два говорил и мне и при мне молодым поэтам: «Учитесь грамоте по Пушкину. Не только читайте — изучайте и любите его. Любите влюбленно, как любят в юности женщину, с восторгом обожания. В нем не только красота и сила. В нем школа и для вас провидение (теперь бы сказали — интуиция). У него не одна гармония стиха — но внутренняя гармония, он больше кого бы то ни было усвоил тайну стройности и соответствия. Посмотрите, как великолепны перспективы его крупных произведений, любой художник — живописец может позавидовать его дальнозоркости. А как он умел отбрасывать иногда пленительные мелочи ради стройного целого. Как он целомудренно скуп на сравнения, которые, как настоящий мот, сыплете вы — всё в одну кучу…»

Следовало бы еще откликнуться на то, что больше всего мучило великого покойника, — на его стихотворение, посвященное Муравьеву; но не нам, не нам судить ошибку человека, спасавшего этим благороднейшее дело своего журнала и добрую сотню сотрудников и рабочих, между которыми были такие, именами которых до днесь гордится вся Россия и каждый русский…

Некрасов, читая свои стихи в Английском клубе, на обеде, данном Муравьеву, не предавал, а спасал. И потом целыми потоками покаянной крови смыл эту — не измену, а ошибку…

— Не нам судить тебя, — обращусь взволнованно к его печальной тени, — ты сам осудил себя и искупил годами страдания свой минутный грех. И мы давно, благословляя твой гений, благоговейно склоняем голову перед твоею великою тенью!

Рыцарь на час
(Из воспоминаний о Гумилеве)

Невыразимою грустью на меня повеяло от небольшой, изящно изданной книжки Гумилева — «К синей звезде». Точно из далекой, неведомо где затерянной могилы убитого поэта меня позвал его едва-едва различимый голос.

Мы обдумывали планы бегства из советского рая.

Мне перед этим два раза отказали в выдаче заграничного паспорта. Другого выхода для меня не было. Он тосковал по яркому солнечному югу, вдохновлявшему его заманчивыми далями. По ним еще недавно он странствовал истинным конквистадором. Рассказывал мне о приключениях в Абиссинии. Если бы поверить в перевоплощение душ, можно было бы признать в нем такого отважного искателя новых островов и континентов в неведомых просторах великого океана времен. Америго Веспуччи, Васко да Гамы, завоевателей вроде Кортеса и Визарро… Я хотел уходить через Финляндию, он через Латвию. Мы помирились на эстонской границе. Наш маршрут был на Гдов, Чудское озеро. В прибрежных селах он знал рыбаков, которые за переброс нас на ту сторону взяли бы недорого. Ведь денег у нас обоих было мало — и миллионов (тогда счет уже был на миллионы!) мы тратить не могли. И вот в таких именно беседах Николай Степанович не раз говорил мне:

— На переворот в самой России — никакой надежды. Все усилия тех, кто любит ее и болеет по ней, разобьются о сплошную стену небывалого в мире шпионажа. Ведь он просочил нас, как вода губку. Нельзя верить никому. Из-за границы спасение тоже не придет. Большевики, когда им грозит что-нибудь оттуда — бросают кость. Ведь награбленного не жалко. Нет, здесь восстание невозможно. Даже мысль о нем предупреждена. И готовиться к нему глупо. Все это вода на их мельницу.

Помню одну из таких прогулок.

Навстречу вьюга. Волны снега неслись нам в лица. Ноги тонули в сугробах.

Гумилев остановился и с внутреннею болью:

— Да ведь есть же еще на свете солнце и теплое море и синее-синее небо. Неужели мы так и не увидим их… И смелые, сильные люди, которые не корчатся, как черви под железною пятою этого торжествующего хама. И вольная песня и радость жизни. И ведь будет же, будет Россия свободная, могучая, счастливая — только мы не увидим.

Этот душевный крик особенно действовал из уст такого по-видимому спокойного, невозмутимого человека, каким он казался, только казался. Его сдержанность была маскою, гордою и презрительной к людской пошлости, низменности и малодушию.

Он был бы на своем месте в средние века.

Он опоздал родиться лет на четыреста!

Настоящий паладин, живший миражами великих подвигов. Он увлекался бы красотою невероятных приключений, пытал бы свои силы в схватках со сказочными гигантами, на утлых каравеллах в грозах и бурях одолевал неведомые моря. И, разумеется, сырые и серые дни Севера среди трусливо припавшего к низинам народа, в вечных сумерках, где только безлистые ветви чахлых деревьев метались во все стороны — были не по нем, давили его могильною плитою.

Бывая у меня, он передавал свои красочные замыслы. Я думаю, лучшего слушателя он не мог найти: ведь в экзотическом мире, как свободная птица в горячем воздухе, носилась и моя мечта. Мусульманский Восток и африканские пустыни тревожили наше воображение. Часто, когда мы смолкали, переживая грезовые паузы, оказывалось, оба странствовали мысленно за морями и океанами. Сейчас, когда я перечитываю его стихи, — строгий и суровый образ поэта, застегнувшегося как будто на все пуговицы, живой стоит передо мною. Он, казалось, весь был в железной непроницаемой броне, чтобы посторонний взгляд не угадал пламя, горевшее в его груди.

Он не мог иначе мыслить, как образами.

Я помню, как-то он приехал ко мне.

— Нет ли в ваших коллекциях или библиотеке рисунков, сделанных африканскими дикарями?

Тогда у меня была большая библиотека, собранная в далеких странствиях. Увы, от нее ни следа!.. Второй такой не составить… Где-то она теперь?

— Зачем вам?

— Я пишу географию в стихах… Самая поэтическая наука, а из нее делают какой-то сухой гербарий. Сейчас у меня Африка — черные племена. Надо изобразить, как они представляют себе мир.

Я не знаю, что вышло из этого. Издатель нашелся. Я видел первые печатные листы… Он не только как поэт сам увлекался часто даже странными идеями, нет. Он умел зажигать и окружающих, случалось, совсем не свойственным им энтузиазмом. Аудитории, в которых он неутомимо выступал как лектор, проникались его восторженностью и героизмом. Если бы существовала школа исследователей и авантюристов (в

благородном значении этого опошленного теперь слова!), я не мог бы указать для нее лучшего руководителя.

Он был необыкновенно деятелен в эту мертвую зыбь нашей печати. Читал лекции в Доме Искусств и пролетарским поэтам. Выступал и в Петербурге, и в Москве на литературных вечерах, живым словом заменивших убиенные большевиками журналы. И как себе, так и другим не давал поблажек. Его требовательность красоты и чистоты стиха доходила до фанатизма. До ярости доводили его статьи, затасканные приемы архивной словесности у молодых начинающих дарований. Сгнившие, навязшие в зубах сравнения, обычная, все нивелирующая плоскость, пошлые приемы мещанского юмора, заимствованные, тысячу раз повторявшиеся рифмы. А. М. Горький на Моховой устроил колоссальное предприятие — художественных переводов иностранных писателей. Оно сложилось в мощную организацию. Благодаря этому учреждению немало наших беллетристов просуществовало в самый ужасный голодный период отечественных злоключений. Приготовлена была таким образом масса рукописей, едва ли десятая часть которых явилась в печати. Все остальное лежит под спудом и ждет воскрешающей трубы Архангела.

Николай Степанович там заведовал, кажется, отделом французской поэзии и доводил наших переводчиков до отчаяния. Он был так строг и к себе, и к другим, что забраковал даже считавшиеся до тех пор классическими переложения песен Беранже, сделанные когда-то Вас. Курочкиным. Гумилев доходил до педантизма: великолепный перевод «Овечьего Источника» и «Собаки на сене» Лопе де Веги, исполненный А. Н. Бежецким (Масловым), он вернул — потому, что число строф в переводе не соответствовало такому же и в подлиннике. Надо было не только соблюдать арифметическую точность, но и каждой строке передать содержание авторской строки. Сам он умел так работать и беспощадно требовал того же от других.

Гумилев в то же время необыкновенно чутко относился к начинающим — именно в кучах навозу отыскивал жемчужные зерна. В слушателях особенно ценил оригинальность, хотя бы неловкую на первых порах, именно дорогую в каждом писателе. Он требовал от них упорной работы над собою.

— Над стихом надо изводиться, как пианисту над клавишами, чтобы усвоить технику. Это не одно вдохновение, но и трудная наука. Легче ювелиру выучиться чеканить драгоценные металлы… А ведь наш русский язык именно драгоценнейший из них. Нет в мире другого, равного ему — по красоте звука и по гармонии концепции.

С его легкой (в данном случае, впрочем, тяжелой) руки во всей России сложились кружки поэтов под всевозможными кличками — от «жемчужной раковины» чуть ли не до «разбитого корыта». И, увы, стихи стали ремеслом. Явились десятки юных самозваных гениев, в звучных и по форме совершенных строфах которых истинная поэзия, по словам И. С. Тургенева, даже не ночевала. Почти накануне его нежданного, так изумившего всех ареста, он был у меня, чтобы повидаться с г. Оргом, тогда главою эстонской миссии в России. Орг в то же время был представителем только что образовавшегося книгоиздательства в Ревеле «Библиофил». Н. С. продал ему новые стихотворения и, покончив с условиями по этому поводу, заторопился в дом Мурузи на Литейную, где он должен был открыть новый кружок поэтов.

— Не слишком ли много их? — заметил я.

— Каждый человек поэт. Кастальский источник в его душе завален мусором. Надо расчистить его. В старое рыцарское время паладины были и трубадурами, как немецкие цеховые ремесленники мейстерзингерами… Мне иногда снится, что я в одну из прежних жизней владел и мечом, и песней. Талант не всегда дар, часто и воспоминание. Неясное, смутное, нечеткое. За ним ощупью идешь в сумрак и туман к таящимся там прекрасным призракам когда-то пережитого…

В этот раз, повторяю, накануне своего ареста, он еще раз заговорил о неизбежности уйти из России.

— Ждать нечего. Ни переворота не будет, ни Термидора. Эти каторжники крепко захватили власть. Они опираются на две армии: красную и армию шпионов. И вторая гораздо многочисленнее первой. Я удивляюсь тем, кто составляет сейчас заговоры… Слепцы, они играют в руки провокации. Я не трус. Борьба моя стихия, но на работу в тайных организациях я теперь бы не пошел.

И узнав о том, что он взят в Чека, я ничего не понял.

Разумеется — глупая ошибка, недоразумение, которое разъяснится сейчас, и он будет выпущен. Вспомнили его работу с пролетарскими поэтами. В своих лекциях он не скрывал ненависти к деспотизму коммунистических тиранов. Но там, в кружке молодежи, предателей не было. Некоторое время меня мучило: не послужило ли поводом к аресту Гумилева устроенное мною знакомство его с Оргом и предполагавшееся печатание поэм Николая Степановича в Ревеле. Ведь всякое сношение с заграницей считалось в России — преступлением. И только через неделю появились первые смутные слухи о Таганцевском заговоре, к которому пристегнули поэта. Это показалось нам всем

так нелепо, что мы успокоились…

Вы слышали о Гумилеве на войне?

В мировой бойне он был таким же пламенным и бестрепетным паладином, встречавшим опасность лицом к лицу. Товарищи кавалеристы рассказывают о нем много. В самые ужасные минуты, когда все терялись кругом, он был сдержан и спокоен, точно меряя смерть из-под припухших серых век. Его эскадрон, случалось, сажали в окопы. И всадники служили за пехотинцев. Неприятельские траншеи близко сходились с нашими. Гумилев встанет, бывало, на банкет бруствера, из-за которого немцы и русские перебрасываются ручными гранатами, и, нисколько не думая, что он является живой целью, весь уходит жадными глазами в зеленеющие дали. Там — в сквозной дымке стоят обезлиствевшие от выстрелов деревья, мерещатся развороченные снарядами кровли, зияет иззубренным пролетом раненая колокольня и плывет, едва-едва поблескивая, река. Гумилев — до пояса под вороненными дулами оттуда. По нему бьют. Стальные пчелы посвистывают у самой головы… Товарищи говорили: «пытает судьбу». Другие думали: для чего-то, втайне задуманного, испытывает нервы. И не сходит со своего опасного поста, пока солдаты не схватят его и не стащат вниз. В кавалерийских атаках — он был всегда впереди. Его дурманило боевое одушевление. Он писал с фронта в Петербург: «Я знаю смерть не здесь — не в поле боевом. Она, как вор, подстерегает меня негаданно, внезапно. Я ее вижу вдали в скупом и тусклом рассвете, не красной точкою неконченой строки — не подвига восторженным аккордом». Эти полустихи полупроза — были пророческими…

Я тогда еще не был знаком с ним.

Любил его чудесную книжку рапсодий «Конквистадоры».

Ее нет в продаже. Она разошлась удивительно быстро, и почему-то он ее не переиздавал. Маленькие поэмы ее были похожи на стройные каравеллы испанских завоевателей, под горячим солнцем скользившие по неведомым океанам к чудесным, сказочным берегам. Строки их звучали, как звон мечей о стальную броню… Как-то говорю о них К. И. Чуковскому.

— Хотите познакомиться с автором?

— Еще бы.

Я еще заранее мечтал о встрече с ним, как перед тем о Максимилиане Волошине и потом о В. Ходасевиче.

Дня через два ко мне на Николаевскую пришел Чуковский.

— Я к вам не один…

День был тусклый, серый… И в этом тусклом, сером выступало позади что-то неопределенное. Ни одной черты,

которая остановила бы на себе внимание. Несколько раскосые из-под припухших век глаза на бледном, плоском лице. Тонкая фигура… Солнечный поэт, и ничего в нем от солнца и красочного востока. Он странствовал по его востоку — я по северу и западу, спускаясь до южных границ Марокко и потом до таинственных Тимбукту и Диенне… Диенне, в котором до сих пор в нравах и в постройках нет-нет да и скажется древний Египет, через весь этот громадный континент забросивший сюда своих посельников. В России росла страшная явь большевизма. Было жутко, нудно, холодно и голодно. Хотелось отойти от нее, отогреться на впечатлениях знойного далекого, недосягаемого юга. Забыться в свободных просторах спаленных небом пустынь… И мы потом целые дни говорили о чужой, сказочной жизни… Хотели даже начать ряд лекций об Африке. Думаю, в советском раю они не имели бы успеха. Слишком львиные приволья и черные племена были в Петербурге не к месту и не ко времени. Я был несколько раз у Гумилева, кажется, на Ивановской. Николай Степанович жил в изящной, полной прекрасных картин, уступленной ему С. К. Маковским, квартире. Потом он переехал, но в этой все кругом говорило о настоящем поэте. Было изящно. Много хороших картин и не нашего холодного севера, а опять-таки прекрасного яркого юга. Я никогда не понимал, как можно в мутном и тусклом Петербурге, где долгая зима все кутает кругом в свой снеговой саван, такие же саваны развешивать по стенам.

— Вам хорошо работается здесь?

— Да… но не так, как в Париже.

Он со страстною тоскою вспоминал о нем.

Он именно там выковывал свой чудесный талант. Солнечные утра, когда он сидел под тенью цветущих деревьев одинокий, задумчивый, так много дали ему. В мировом центре города-света (ville-lumiere) ленивая мысль и анемичное творчество невольно, точно наливаются здоровою горячею кровью. Все вас зовет к труду. В самом воздухе какой-то особенный озон, что ли, дыша которым вы тянетесь к неоглядным просторам искусства. На этой вечной живой этнографической выставке вы роднитесь с ширями и далями всей земли, делаетесь ее гражданином и еще глубже и умиленнее поэтому любите запавшее в холодные туманы отечество.

В Гумилеве жил редкий у нас дар восторга и пафоса.

Он не только читателя, но и слушателя в длинные и скучные сумерки петербургской зимы уносил в головокружительную высь чарующей сказки. Часто музыка его стихов дополняла недосказанное их образами.

И этого поэта, поэта-рыцаря, уходившего душою в фата-

моргану тропиков, прислушивавшегося из своего далека задумчиво и чутко к таинственным зовам муэдзинов и шороху караванов в золотых песках загадочных пустынь, безграмотные, глупые и подлые люди убили, как бродячую собаку, где-то за городом, так что и могилу его нельзя найти. Братскую могилу, куда с ним легли такие же неповинные, как и он, профессора, художники с едва-едва вышедшими из детства девочками.

Хороши и пролетарские поэты.

Они могли бы спасти своего учителя.

Ведь Гумилев в их студии преподавал им — полуграмотным, но жадно рвавшимся к искусству и знанию, законы поэзии, ее историю, приобщая их к ее красоте и мощи. Поливал эту молодую, пока бесцветную, поросль живоносными водами нашей великой литературы, связывая своих учеников, родня их с бессмертными творцами чудесного русского языка. Они его жадно слушали, любили. Но когда понадобилось собраться всей аудиторией и пойти к комиссару Чека, человеку их партии, бывавшему в их клубах, считавшемуся с их симпатиями, они трусливо, малодушно и подло отреклись от Н. С. Гумилева.

— Знаете, мы справлялись по телефону, но нам оттуда посоветовали не мешаться в это дело…

Серьезно пытались спасти поэта дома Литераторов и Искусств. Об этом писали и Амфитеатров и Волковысский, участвовавший в депутации к начальнику Чрезвычайки.

Наших представителей комиссар Чрезвычайки встретил недоуменно:

— Что это за Гумилевский. И, зачем он вам понадобился? И вообще, к чему нам поэты, когда у нас свои есть…

Разумеется, следователи на Гороховой были грамотнее этого эскимоса. Один из них оказался даже правоведом. Ни в чем не уличенный Гумилев, как мне рассказывали, держался с никогда не изменявшим ему спокойствием и мужеством. Как и в окопах под адским огнем германской атаки. Встречал опасность, не опуская глаз и презрительно глядя на эту стаю палачей. Может быть, он считал ниже своего рыцарского достоинства скрывать убеждения, не следовал примеру Петра Апостола, которому нужен был петух, чтобы прийти в себя.

Как Гумилев провел канун обычной в советском раю казни?

Я рисую себе застенок вшивой тюрьмы, где вместе с ним метались измученные пытками смертники. Думаю, что он оставался так же спокоен, как всегда, мечтая в последние минуты о счастливых солнечных далях. О раннем утре перед кошмаром этого соромского убийства, о тех истязаниях и муках, которым подвергали обреченных агенты Чрезвычайки, передают нечто

невероятное… Я воздерживаюсь приводить здесь слухи, тогда волновавшие Петербург. Все равно нет тайного, что со временем не сделалось бы явным. Пусть их расскажут другие…

Гумилев любил цитировать две строки из Альфреда де Виньи. Он поставил их эпиграфом к своим «Жемчугам»:

> Ou'ils seront doux les pieds de celui qui viendra
> Pour m'annoncer la mort…[49]

Ужасная русская действительность подарила своего поэта варварскою и подлою вестницею смерти во вшивом и смрадном каземате.

В последнее свидание в Доме Литераторов Гумилев говорил мне о своих поэтических замыслах. Жалко, что здесь я не могу остановиться на них. Нет места. И без того мой очерк слишком разросся. В них воскресал арийский восток. «Дитя Аллаха» было только вступлением в этот сказочный мир.

Мне и до сих пор слышится его напевный голос:

> И снова властвует Багдад,
> И снова странствует Синбад,
> Вступая с демонами в ссору…
> И от египетской земли
> Опять уходят корабли
> В великолепную Бассору…[50]

Вскоре после мученической смерти Рыцаря на Час одна из его восточных пьес была поставлена в коммунистическом театре.

Мне рассказывали:

В первом ряду сидел комиссар Чека и двое следователей.

Усердно аплодировали и… вызывали автора!

Убитого ими.

С того света! Из грязной ямы, куда было брошено его еще дышавшее и шевелившееся тело… Какая трагическая гримаса нашей невероятной яви! Что перед нею средневековый danse macabre? [51]

Как живут и работают русские писатели

Письмо из Москвы

Вы спрашиваете, как и над чем я работал и как я живу.

Это, действительно, займет будущего бытописателя нашей литературы. Никогда не забуду зиму 1919–1920 г. Было тяжело: голодно, холодно, жутки. Чернила, случалось, замерзали, приходилось работать карандашом. Назябнешься, продрогнешь в хвостах, а дома от 4–5 градусов выше 0. Не отогреться и все-таки тянет к столу, к привычному и любимому делу. Пишешь в шубе, в теплых (не принимайте буквально!) перчатках, обернув ноги в плед, заменяющий ночью одеяло. Дрова еще удавалось хоть изредка доставать, но печи несколько лет не чищены, некоторые развалились, мастеров не оказывалось. Дым густился в кабинете, оставляя на всем густой слой сажи. Водопроводы лопались от мороза. Я заболел воспалением легких.

Тем не менее — голова не вымерзла, мозг работал.

За эти три года написано много.

Русская зарубежная периодическая пресса на весь мир объявила: русский писатель умер. И потом опять, как мне рассказывали: умер не умер, но точно его никогда не было (в насмешливом тоне!). Если мы умерли, — то над могилами товарищей по перу такой смех не совсем приличен. Если остальные, уцелевшие, не появляются в печати, то потому, что такой почти нет. Осталась партийная, отгородившаяся или кружковая, с тремя, четырьмя именами, под разными соусами и псевдонимами.

Но русский писатель жив, жив при всяких условиях, и его творческая работа продолжалась, как в П-ге, так и в Москве. В Москве она даже приняла давно уже небывалую форму возврата к средневековью до Гуттенберга. Авторы сами собственноручно (блаженны четкие, ибо они сладостями гонорара насытятся!) переписывают свои произведения, украшают их, как умеют, пестрыми виньетками и рисунками и в таком виде выпускают свои «уники» в продажу. В артельной лавке писателей в Леонтьевском переулке, превосходно обслуживаемой коммунально самими литераторами, я видел такие, часто весьма остроумные и интересные всегда. Но, разумеется, крупные произведения хранятся под спудом. Добрая половина их никогда

не увидит света, ибо всякому овощу свое время, особенно в наш электрический век. Когда печать наладится, время выдвинет свои повелительные требования и то, что пишется теперь, устареет. Таким образом, русский писатель и сейчас не складывает оружия и не бежит со своего поста. «Вестник Литературы» часто делает экскурсии в эту terra incognita и делится сведениями с читателем. Кстати, о читателе. Он весь теперь в вечных поисках за нужною ему книгой. Номера старых журналов, тетрадки разрозненных еженедельников — своего рода серебряные рудники. «Аргус», «Мир приключений», «Пробуждение» и проч. продаются — каждый старый истрепанный номер, без связи с предыдущим и последующим по 500-1000 р. и дороже. На углу Арбатской площади и Поварской в Москве раскупались листки старых газет с фельетонами Горького, Амфитеатрова, Дорошевича и др., и каждый листок шел по 40 — 50 р. На Моховой у решетки бывшего Княжего Двора — рваные учебники (безначальные и бесконечные), лохмотья спекулятивной рухляди полуграмотных издателей Никольской ул. — все это сбывается по аховым ценам. Жажда книги неодолимая. Олень на источники водные не так бросается, как обескнижневший русский читатель на каждую страничку.

А настоящий писатель стал поневоле молчальником и копит у себя в портфеле свои работы…

Я, напр., отогревался в это время, когда мне становилось особенно трудно, на воспоминаниях о далеком теплом юге. Многое из написанного в это время поставлено в рамки яркой и пышной природы. Авторская наблюдательность беспрестанно снимает помимо желания негативы с окружающей действительности, но они складываются далеко в уголках души до поры, до времени. От суровой яви — входишь в чистое художество. Чем мрачнее кругом, тем ярче пестрядь укладывающихся в строки старых впечатлений, встреч, переживаний. Уравновешивается неизбежное настоящее с навсегда ушедшим прошлым. И как это ни странно, но чуждая грезе и мечте обыденщина вызывает неудержимую потребность отдаться им на бумаге. Думаю, это и помогло многим легко пережить голодовку страшных месяцев, так трагически отозвавшихся на других моих товарищах. Только энергия и работа мысли спасают писателя. Но не подумайте, чтобы я оставался равнодушен к нашей яви. Я отходил от нее временами, как солдат в зимнюю ночь на позициях к костру согреться. Она выдвигает такие грандиозные события и картины, перед вами носятся такие стихийные в полмира фантомы, что для оценки их и воплощения в точные образы и типы нужно время и даль. Это

придет своим чередом, если удастся пережить еще зиму.

Я прошел громадную жизнь. Сознательно я начал ее в эпоху, когда рухнуло крепостное право, и кончаю, когда весь мир в небывалой грозе, в страшных катаклизмах перестраивается заново. Живой свидетель этого, я был бы счастлив, если бы судьба дала мне возможность в моих последних работах создать нечто достойное этой эпохи трагического крушения отгнившей стари и новой борьбы титанов. Я не только задумал, но и набросал несколько глав романа-трилогии, с одними и теми же действующими лицами. Собственно, это три романа: первый — Россия до войны, второй — Россия во время войны и третий — наше отечество теперь уже за порогом беспримерной не только политической, но и социальной революции. Я довел эту трилогию до 1914 года, т. е. до конца первого тома.

Что я написал за эти годы еще?

Никогда во всю жизнь я не работал для театра. В последние месяцы меня потянуло к нему. Я окончил драматические сцены в одном акте: «Тот, чья жизнь бесполезно разбилась», в двух актах две пьесы: «Джордано Бруно» и «Народный вождь». Думаю — на этом свои попытки и покончить. В старости поздно учиться ходить по канату.

Полюбилась идея рассказать несколько поэтических легенд — одни и те же — каждую в три эпохи с их характерным освещением, согласно менявшемуся воззрению народа. Так, напр., я взял «Правдивое сказание о том, как сестра Изабель — монахиня из обители св. Терезы — была Мадонною возвращена миру». Оно мною изложено стилистически в трех вариантах: в духе слепо веровавшего наивного XV века, скептического и насмешливого XVIII и атеистического XX. Думаю также обработать и другие.

Из более крупных вещей за это время написаны: «На безвестном острове», «Мисс Эльсбет, Лючия Кафарелили и Povero Giacomo», «Сказание о добродетельном дураке», «Боюсь одна!», «В садах Вальдемосы», «Ледяной гроб», «Веселые оболтусы». — «За океаном». Божественный Аретино — Вечерние призраки. — Солнечный Рай. — «Пока что». — Прощальный свет. — Ряд воспоминаний и др.

Приготовлены к печати «Облетевшие листья»: это несколько томов небольших (часто в одну, две до пяти страничек), лирики в прозе, красочных очерков, афоризмов, параллелей, сцен, миражей, сравнений, мыслей, много лет тому назад записывавшихся и продолжающихся накопляться и до сих пор… Впечатления через призму писательской души.

Вы меня спрашиваете, сколько лет я в работе?

Без ложной скромности могу сказать «неустанной». Может быть, она была неудачна, не на той высоте, как этого хотелось бы мне и читателю (желания обоих часто сходятся). Но никогда я не был рабом ленивым, зарывавшим свой талант (по-евангельски, но не по самомнению) в землю. Я задался целью написать ряд очерков «Народные трибуны, вожди и мученики». Комиссариат Просвещения дал мне для выполнения этого труда командировку (спешу прибавить — без всяких авансов!) за границу. Комиссариат Иностр. дел постановил выдать мне с этой целью паспорт. Я южанин и, как таковой, нуждаюсь в тепле и свете. Работа, заданная мне наркомпросом — была бы первым для меня отдыхом, — и он мне очень-очень нужен… Впервые чувствую себя действительно утомленным. Но все окончилось полной неудачей. Она совпала с шестидесятилетием моей литературной работы — повторяю, безотходной, неустанной… Это был мне первый юбилейный подарок, не примите за сожаление. Товарищи знают, что я всегда по отношению к себе чурался писательских именин. В 25, 30, 40, 50-летия моей писательской работы, когда в Москве Лавров и Гольцев, в П-ге неистовый Филлер подготовляли таковые — я брал заграничный паспорт и на время бежал с поля битвы.

1921

Примечания

На кладбищах

Ревель: Библиофил, 1921. Печ. по этому изд. В публикацию включены три новых мемуарных очерка, увидевших свет после завершения книги «На кладбищах»: «Мои встречи с Некрасовым», «Рыцарь на час», «Как живут и работают русские писатели. Письмо из Москвы».

От автора

…как библейская Руфь… — В ветхозаветной Книге Руфь рассказывается о женщине, которую голод заставил покинуть Вифлеем. Через много лет Руфь Моавитянка вернулась, попав в родной город к началу жатвы ячменя. Вооз застал ее на своем поле за сбором колосьев. Эта встреча привела их к женитьбе. Вскоре у них родился сын Овид, дед будущего великого царя Израиля Давида.

О Чехове

…в печати впервые появился «Антоша Чехонте». — Чехов печатался под псевдонимом Антоша Чехонте в 1880–1882 гг. Так он подписал и свою первую книгу «Сказки Мельпомены» (1884).

Иван Великий — колокольня в Кремле со звонницей в 21 колокол, памятник архитектуры XIV в. Более двухсот лет колокольня была самым высоким (81 м) зданием в Москве.

…Вероны никакой нет. Ее Шекспир выдумал… — Верона — место действия пьес Шекспира: трагедии «Ромео и Джульетта» и комедии «Два веронца».

Больше с Алешей… в винт играл. — Алексей — А. А. Суворин.

В Венеции… памятник Кановы… — Выдающийся итальянский неоклассицист А. Канова изучал в Венеции искусство скульптуры и в 1779 г. создал здесь свою первую значительную композицию

«Дедал и Икар».

…конной статуи кондотьери Коллеоне. — Имеется в виду бронзовый конный монумент венецианского наемного полководца (кондотьера) Бартоломео Коллеони, сооруженный в 1490 г. флорентийским зодчим Андреа дель Верроккьо (1435 или 1436–1488).

Собачья площадка — бывшая площадь в Москве в районе улиц Арбат и Большая Молчановка.

«Осколки» — самый популярный юмористический журнал, редактировавшийся Н. А. Лейкиным. Чехов печатался в «Осколках» в 1882–1887 гг.

Театр Корша — антреприза Ф. А. Корша в Москве. В этом театре, просуществовавшем с 1882 по 1917 г., премьеры шли еженедельно, в каждую пятницу.

…люблю Шерлока Гольмса… — Шерлок Холмс — главный герой серии рассказов английского классика детективного жанра Конан Дойла.

«Хороший тон» Германа Гоппе. — Вероятно, имеется в виду журнал Г. Д. Гоппе «Моды и новости», переименованный вскоре в «Модный свет» (1867–1883).

«Мысль изреченная есть ложь» — Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium» (1829).

Игнатий Николаевич — И. Н. Потапенко.

…запахнувшись в Чайльд-Гарольдовский плащ… — Чайльд-Гарольд — герой одноименной поэмы Байрона, романтический гордец и разочарованный бунтарь. Татьяна Ларина в романе Пушкина «Евгений Онегин» (гл. 7) создает такой образ Онегина, «москвича в Гарольдовом плаще»:

…Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,

Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?

… любовницу нашего морского министра… — С мая 1881 по июнь 1905 г. главным начальником флота и морского ведомства был великий князь Алексей Александрович.

Мария Павловна в Академии… — Великая княгиня Мария Павловна заменила на посту президента Академии художеств своего мужа великого князя Владимира Александровича после его смерти в 1909 г.

… был жрецом-скрибом в Мемфисском храме… — Мемфисский храм — несохранившееся культовое сооружение в столице древнего Египта Мемфисе, построенном в 525 г. до и. э.

Луговой Алексис либр-пансером притворяется… — Под псевдонимом А. Луговой печатался писатель А. А. Тихонов. Либр-пансер (от фр. libre penseur) — вольнодумец.

Татьянин день — отмечается 12 (25) января в память о святой мученице за христианскую веру: после пыток она была казнена в Риме ок. 225 г. В этот день в 1755 г. императрица Елизавета Петровна подписала Указ об учреждении Московского университета. С начала XIX в. Татьянин день стал праздником университетских студентов, преподавателей и выпускников.

«Яр» — самый модный в XIX в. московский ресторан; открыт в 1826 г. на Кузнецком мосту, а затем перенесен в Петровский парк (ныне Ленинградский пр., 24). В «Яре» пели знаменитые цыганские хоры (в том числе Ильи Соколова).

…как Вейнберг, ни одних похорон не пропущу. — П. И. Вейнберг в 1897–1901 гг. был председателем Союза взаимопомощи русских писателей, а затем председателем Литературного фонда — организаций, ведавших среди прочих дел также организацией похорон.

… как нероновская Поппея, купаться в молоке девятисот ослиц… — Одна из легенд о любовнице, а затем второй жене римского императора Нерона.

…глупые Парки ткут без конца нити всевозможных

жизней… — Парки — в римской мифологии богини судьбы (у греков мойры).

Шатолафит — одно из лучших бордосских вин, производившееся во Франции.

Четьи Минеи — сборники, содержащие жития святых в порядке празднования их дней памяти по православному календарю, а также молитвы, псалмы, гимны, каноны на каждый день.

Меня вон с Мейсонье сравнивают… — См. Месонье в Указ. имен.

Фиваида — область вокруг древнегреческого города Фивы в Египте; позже название всего Верхнего Египта.

… маткой-бозкой ченстоховской благословила. — Имеется в виду икона Ченстоховской Божией Матери (Польша), считающаяся чудотворной.

… мой брат Владимир… — Вл. И. Немирович-Данченко.

…у «Василисы». Мы звали так хозяйку виллы Арнольди… — Имеется в виду писательница А. А. Арнольди.

…автором «Пенденнисов». — «Пенденнис» (1850, рус. пер. 1852) — роман У. М. Теккерея.

Лупанарий — публичный дом в Древней Греции.

Извозчики тоже еще не стали Вандербильтами и Морганами. — Т. е. не стали миллионерами, как американцы Вандербильт и Морган.

Калган — многолетнее травянистое лекарственное растение.

Он и Кигна (Дедлова)… — Дедлов — псевдоним писателя В. Л. Кигна.

Александро-Невская лавра — монастырь в Петербурге, основанный в 1710 г. в память победы Александра Невского над шведами. Здесь были похоронены М. В. Ломоносов, А. В. Суворов, М. И. Глинка и др. Ныне заповедник с Музеем городской

скульптуры.

Замысловские и Келеповские… — Имеются в виду юрист Г. Г. Замысловский (1872 — ?) и помещик С. И. Келеповский (1873 — ?), депутаты Государственной думы 2–4 созывов, придерживавшиеся крайне правых, анти-семитско-шовинистических позиций. Замысловский — автор скандально известной брошюры «Умученные от жидов», в которой пытался доказать существование у евреев ритуальных убийств.

…Репетиловы вроде Керенского… — А. Ф. Керенский сравнивается с персонажем из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

…Епиходовых, несущих во главе революционных вопленниц красные знамена.. — Епиходов Семен Пантелеевич — конторщик из комедии А. П. Чехова «Вишневый сад» (1903).

… до Маньчжурской войны. — Русско-японская война 1904–1905 гг., завершившаяся поражением России.

…Соловьев прочен свое известное стихотворение, предсказывающее страшные события на нашем Дальнем Востоке. — Имеется в виду стихотворение Вл. С. Соловьева «Панмонголизм» (1894), которое он читал друзьям задолго до первой публикации (в журнале «Вопросы жизни». 1905. № 8). Первую строфу («Панмонголизм! Хоть слово дико, // Но мне ласкает слух оно, // Как бы предвестием великой // Судьбины Божией полно») поэт и философ напечатал в 1900 г. как эпиграф к своей «Краткой повести об Антихристе».

И 1612 г. мы сумели пережить… — Речь идет о польской интервенции во главе с королем Сигизмундом III, захватившим в 1610 г. Москву. Поляки были изгнаны в октябре 1612 г.

…о 1812. Это была ошибка Александра I Германского на русском престоле. — Одним из поводов вторжения Наполеона в Россию и начала Отечественной войны 1812 г. стал отказ Александра I выполнять унизительные для страны условия Тильзитского договора 1807 г., заключенного после поражения союзных войск России, Австрии, Пруссии и Швеции в войне с Францией.

Диктатор на покое

…что происходило в Западной Европе с Людовика XIV до крушения Наполеона III. — То есть с XVII по XIX в. Людовик XIV — король Франции с 1643 г. Наполеон III был низложен в 1870 г.

…Лорис-Меликов… был выброшен новым курсом за борт вместе с Д. А. Милютиным… — Имеется в виду первый в истории России «министерский кризис» 30 апреля 1881 г. Активные реформаторы и сподвижники Александра II министр внутренних дел М. Т. Лорис-Меликов, военный министр Д. А. Милютин и министр финансов А. А. Абаза подали новому императору Александру III прошения об отставке в знак протеста против его манифеста «о незыблемости самодержавия», воспринятого как отказ от реформ.

…повелел Израилю о роде и племени Амалека?.. — Амалек (Амалик) — персонаж библейской Книги Бытия, старейшина амаликитян, самого древнего кочевого народа на юге Палестины, в Аравии.

Германдады («братства») — в XIII в. союзы испанских горожан против злоупотреблений дворянства. Фердинанд Католический с помощью союза призывал миронарушителей к порядку, конфисковывал их имущество в пользу казны. В дальнейшем «святою германдадой» стали называться отряды жандармерии.

…Николай I… поссорил Желтухина с Ростовцевым… — Журналист А. Д. Желтухин и Я. И. Ростовцев — деятели эпохи Николая I, занимавшиеся подготовкой крестьянской реформы.

Дагмара — императрица Мария Федоровна, урожд. принцесса датская Мария София Фредерика Дагмар.

Владимира он называл prince-consort Бисмарковской содержанки… — Великий князь Владимир Александрович был женат (с 1874 г.) на дочери великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца II принцессе Марии, принявшей в России имя Мария Павловна (старшая).

«Год войны» — дневник корреспондента Вас. Немировича-Данченко о русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Эти оперативные очерки, фронтовые репортажи с театра военных действий печатались в газетах, журналах, сборниках и читались всей Россией. Отдельное изд.: т. 1–3. СПб., 1878–1879.

Что вам Гекуба? — Реплика «Что мне Гекуба и что я Гекубе?» из монолога Гамлета в одноименной трагедии Шекспира. Героиня «Илиады» Гомера и трагедий Еврипида Гекуба — жена троянского царя Приама, оплакивающая убитого сына, за которого она мстит убийце Полиместору: убивает его детей и ослепляет его самого.

Герман и Савватий — монахи Соловецкой обители. Преподобный Савватий (ум. в 1479), не умея писать, продиктовал свои воспоминания о сподвижниках по пустынножительству Савватии и Зосиме. Савватий (ум. в 1435) — основатель Соловецкого монастыря, прибывший на остров вместе с иноком Германом.

Ну и Федора наша цензура! — Федора — здесь в знач. простофиля.

…с газетами больше Александр Аполлонович знакомил. — А. А. Скальковский — брат публициста, театроведа Константина Аполлоновича Скальковского (1843–1905).

«Гром победы раздавайся» — первая строка стихотворения без названия Г. Р. Державина (1743–1816), положенного на музыку О. А. Козловским (1757–1831).

…Д. А. Милютин… писал свои воспоминания… — Военный министр Милютин — автор книг «Воспоминания» (т. 1–4) и «Дневник» (т. 1–3), написанных после выхода его в отставку в 1881 г. и изданных посмертно.

…работники «времени реформ». — Имеется в виду эпоха царствования Александра II, осуществившего реформы в разных сферах жизни государства, в том числе отменившего крепостное право в 1861 г.

Я помню его записки о Кавказской войне… — Книга воспоминаний Д. А. Милютина «Описание военных действий 1839 г. в Северном Дагестане» (1850).

…подвиг, подобный Геркулесову в Авгиевых конюшнях… — Один из 12 подвигов героя греческих мифов Геракла (у римлян Геркулес): он взялся за один день очистить конюшни царя Авгия, стойла которых не очищались от навоза 30 лет. Он подвел воды близлежащих рек так, что они смыли все нечистоты.

…обстоятельства его убийства… — Долго обсуждавшаяся версия о гибели Скобелева: было совершено убийство, «заказанное» его великосветскими ненавистниками. Однако вскрытие, произведенное прозектором Московского университета Нейдингом, показало, что скоропостижная смерть наступила от паралича сердца и легких.

Бундист — член Бунда (1897–1921), «Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России».

…повторится 93 год, и новый Людовик XVI взойдет на эшафот. — Французский король Людовик XVI (1754–1793), как только началась Великая французская революция 1789–1794 гг., обратился за помощью к иностранным государствам. Однако был свергнут и казнен.

…после ужасного события… — 1 марта 1881 г. террористами был убит Царь Освободитель, Царь Преобразователь Александр II.

…трубы израильские противу новых Иерихонов… — Иерихон — первый город-крепость, завоеванный евреями на пути из пустыни к земле Ханаанской. Это им удалось сделать после психологической подготовки: по приказанию Иисуса Навина колонны израильтян в течение семи дней в молитвенном безмолвии шествовали вокруг стен Иерихона, деморализуя противника. А в последний день мощно взревели серебряные трубы, вызвав панику. Крепость сдалась.

Папская индульгенция — в католической церкви документ об отпущении грехов, выдаваемый (продаваемый) всем кающимся. Индульгенции были введены в XI в.

Отечественный цинциннат

…Ростовцев, заглаживающий свое подлое предательство… — Я. И. Ростовцев в 1825 г., не называя имен, сообщил Николаю I о заговоре декабристов.

…тут умер и погребен был Байрон… — Байрон умер в 1824 г. в Греции, где командовал отрядом в освободительной борьбе против турецкого ига. В его честь здесь был объявлен национальный траур. По просьбе патриотов в Греции похоронены легкие поэта, а тело с почестями было отправлено в Англию и

погребено в местечке Хакналл, близ Ньюстеда.

…сделав Рысакова и Кибальчича… исполнителями Божьих велений… — Н. И. Рысаков и Н. И. Кибальчич — террористы, участвовавшие в покушении на Александра II 1 марта 1881 г., за что были повешены.

Капитан Копейкин — персонаж из «Мертвых душ» Гоголя.

…в нем было что-то Фамусовское. — Фамусов — персонаж комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова.

Французы подняли гвалт по поводу Панамы. — Во Франции в 1879 г. было основано акционерное общество для строительства Панамского канала. Вскоре выяснилось, что это была жульническая афера, разорившая десятки тысяч акционеров.

…мы-де зажат рот Джон Булю. — Джон Буль (Иван Бык) — юмористическая кличка англичан, карикатурное олицетворение Англии. Впервые так назвали соплеменников писатели-сатирики Джонатан Свифт (1667–1745) и Джон Арботнот (1667–1735), автор сатиры «История Джона Буля» (1712).

Жаль, нет Муравьева… — Имеется в виду генерал-губернатор Северо-Западного края М. Н. Муравьев, жестоко подавивший Польское восстание 1863–1864 гг.

…последнего Гогенцоллерна. — Имеется в виду Вильгельм II (1859–1941), германский император и прусский король, свергнутый в 1918 г.

Памятка о неугасимой лампаде

Феб-Аполлон — в древнегреческой мифологии бог солнечного света, покровитель муз (Феб — прозвище Аполлона с эпитетом «блестящий»).

Омар… Халиф, который Александрийскую библиотеку Птолемеев сжег. — Александрийская библиотека, содержавшая от 100 до 700 тысяч книг, была основана в Александрии при Птолемее I Сотере (ок. 367/366-283 до н. э). Часть ее сгорела во время осады столицы эллинистического Египта Юлием Цезарем в 48–47 гг. до н. э., другая уничтожена христианскими фанатиками

в 391 г. Мусульманский халиф Омар I (ок. 591 или 581–644) завоевал Египет в VII в.

Кэк-уок (англ. «пари из-за лепешки») — танец индейцев-семинолов, ставший в начале XX в. популярным в Америке и Европе.

Не герой

«Новости» — газета, которую Нотович приобрел в ноябре 1876 г. Через четыре года он купил еще одну — «Биржевую газету» и слил их в одну, назвав ее «Новости и биржевая газета». В газете, успешно конкурировавшей с изданиями А. С. Суворина, печатались Вас. И. Немирович-Данченко, Н. С. Лесков, П. Д. Боборыкин, Г. К. Градовский, К. Д. Кавелин, П. И. Вейнберг, В. Г. Короленко. Министр И. Н. Дурново доносил в 1891 г. царю: газета Нотовича «особенно отличается своим вредным направлением».

…хитроумный. Улисс Проппер… — С. М. Проппер — биржевой маклер, основавший в Петербурге в 1880 г. газету «Биржевые новости». Улисс — латинская форма имени Одиссей, об изворотливости и отваге которого повествует Гомер в одноименной поэме.

Иван Александрович Хлестаков — герой комедии Гоголя «Ревизор».

«…но и с моей книгой!». — Вероятно, имеются в виду книга О. К. Нотовича «Немножко философии. Софизмы и парадоксы» (1886) и се продолжение «Еще немножко философии. (К вопросу о свободе, воле.) Софизмы и парадоксы» (1887), выдержавшие 6 изданий.

…с армиями Радько Дмитриева провел поход от Лозенграда через Люле-Бургас… — Болгарский генерал Радко Димитриев во время войны с Турцией в 1912 г., командуя третьей армией, взял Лозенград и одержал победу при Люле-Бургасе. Однако в 1913 г., во 2-й Балканской войне, Болгария потерпела поражение, потеряв все земли, завоеванные ею год назад.

…новоявленного царя Фердинандуса… — Фердинанд — болгарский князь; после провозглашения в 1908 г. полной независимости Болгарии от Турции принял титул царя.

Плюшкин — персонаж из «Мертвых душ» Гоголя.

Ааронов жезл — о нем рассказывается в ветхозаветных преданиях: с помощью жезла (посоха) первосвященник Аарон являл чудеса, соревнуясь с египетскими жрецами и волшебниками.

…не занимал места славного потомка Гуниади-Яноса… — Ян Гуниади, прозванный Корвин (1387–1456), — трансильванский воевода, правивший Венгрией с 1444 г. Отразил атаку турок на Косовом поле в 1448 г., а в 1454-м защитил Белград от войск Магомета II.

Алексей Сергеевич написал Татьяну Репину… — Пьеса А. С. Суворина «Татьяна Репина» (1889) повествует о трагической судьбе оперной и драматической актрисы Евлалии Павловны Кадминой (1853 — 1881; отравилась на сцене во время спектакля). Продолжение пьесы под тем же названием написал А. П. Чехов.

Покойная Комиссаржевская была удивительна в Козете. — Козета — персонаж из пьесы по роману В. Гюго «Отверженные». Роль Козеты входила в репертуар В. Ф. Комиссаржевской.

Погасшая звезда

Сафические оды — в древней Греции так назывались лирические стихотворения, исполнявшиеся хором или с музыкальным сопровождением. Сочинением таких од прославилась выдающаяся поэтесса античности Сафо (Сапфо).

…косолапейший из критических российских неуважай-корыт Протопопов… — Имеется в виду критик М. А. Протопопов, сотрудничавший в «Отечественных записках», «Русской мысли» и других изданиях.

…фантомами Боабдилов Аль-Манзуров… — Боабдиль Абу — последний мавританский халиф в Испании, правивший в 1482–1492 гг. Свергнут Фердинандом Католиком. Абу Джафер Альманзор (712–775) — второй халиф из династии Аббасидов, основатель Багдада, покровитель наук и искусств.

… своей второй дочери Надежде Александровне… — Н. А. Лохвицкая печаталась (и прославилась) под псевдонимом Тэффи.

Фиваида — область вокруг г. Фивы, построенного в Древнем Египте на обоих берегах Нила; позже название Верхнего Египта.

«Русская мысль» — московский журнал, выходивший в 1880 — 1918 гг.

Неудавшаяся дуэль

…экзаменов по Циммервальду и Киенталю не держали. — Имеются в виду международные Циммервальдская (1915) и Киптальская (1916) конференции социалистов-интернационалистов, собравшиеся в Швейцарии и призвавшие остановить первую мировую войну.

…какой козырь был Всеволод Крестовский, а ему Краевский за «Трущобы»… — Знаменитый роман Вс. В. Крестовского «Петербургские трущобы» печатался сперва в журнале А. А. Краевского «Отечественные записки» в 1864–1866 гг.

«Гугеноты» (1836) — опера французского композитора Джакомо Мейербера (1791–1864).

Гамлет, Лаэрт — персонажи трагедии Шекспира «Гамлет».

Мои встречи с Некрасовым

Печ. по изд.: Литературное наследство. Т. 49 — 50. Н. А. Некрасов. М.: Наука, 1946. С. 591 — 599. Автор предполагал включить очерк в книгу воспоминаний «Забытые дали», которую писал в эмиграции в 1920-е годы, но завершить не успел. По сохранившимся в архиве наброскам плана работа намечалась обширная: в ней мемуарист намеревался рассказать о событиях и исторических деятелях двух веков. Писатель издал из воспоминаний лишь один том — «На кладбищах» (1921) и книгу о Скобелеве. Публикатор и комментатор мемуарного очерка о Некрасове литературовед С. А. Макашин пишет: «Находясь весной 1945 г. в Чехословакии в составе действующих частей Красной Армии, я случайно узнал о местонахождении бумаг, оставшихся после смерти Немировича-Данченко. В дачном местечке Horny

Pocernicy под Прагой, в семье погибшего в немецком концлагере в Терезине любителя русской литературы д-ра Vojtech Hudacek, я ознакомился с материалами. Они были малочисленны и случайны. Но среди них находилась публикуемая рукопись воспоминаний о Некрасове. Она была подготовлена автором для напечатания в качестве самостоятельной статьи в связи с 50-летием со дня смерти Некрасова, исполнившимся в 1927 г. Что касается датировки самого содержания воспоминаний, то, как явствует из их текста, они относятся к началу 1870-х годов, и даже точнее, к 1874 г. Таким образом, автору было 80 лет, когда он вспоминал о начале своей литературной работы и записывал о встречах и разговорах с Некрасовым, Щедриным и др.» (Литературное наследство. Т. 49–50. С. 589). Немирович-Данченко сотрудничал в журнале Некрасова «Отечественные записки» в 1871–1879 гг. Узнав о том, что поэт умирает, он послал ему свое стихотворное послание-утешение:

Н. А. Некрасову

О, нет, не думай, что напрасно
Ты жил, работал и страдал…
Не даром родине звучал…

Железный стих, как плуг, глубоко
Взрывал народные поля.
Еще ростков не видит око,
Пока — черна еще земля.

Но крепнут озими упорно,
Настанет поздняя весна,
И в этой почве благотворно
Твои воскреснут семена.

Родимый край молчит, чуть дышит,
Но пусть твой стих ему звучит.
Придет пора — народ услышит
И скорбь твою благословит.

(Немирович-Данченко Вас. И. Стихотворения. СПб., 1882. С. 76.)

…начал в «Деле» очерки «У океана». — Впервые книга «У океана» опубл.: Дело. 1874. № 7 — 9, 11, 12. Подпись: В. Н-Д.

Одновременно в ж-ле «Отечественные записки» публиковался еще один очерковый цикл Немировича-Данченко: «За северным Полярным кругом» (1874. № 8-10).

Мои первенцы были хорошо приняты литературным миром. — «Кто автор записок о Солов<ецком> монастыре в В<естнике> Е<вропы>? — спрашивает И. С. Тургенев в письме к М. М. Стасюлевичу от 9 октября 1874 г. и заключает: — Отличная вещь» (М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. СПб., 1912. Т. III. С. 54).

«…вы тут столько набоборыкали». — Имеется в виду П. Д. Боборыкин, о творчестве которого Салтыков-Щедрин отзывался отрицательно.

…затянувшийся роман, кажется, Гирса. — Д. Гирс напечатал в журнале «Отечественные записки» роман «Старая и юная Россия» (1868. № 3, 4) и очерковую книгу «Калифорнийский рудник. Сцены прошлого» (1872. № 2, 3). Оба произведения «затянувшимися» назвать нельзя. Поэтому замечание Немировича-Данченко вряд ли может быть отнесено к Гирсу.

«Сто русских литераторов» Смирдина — три сборника, выпущенные в 1839–1845 гг. книгоиздателем А. Ф. Смирдиным.

«Заноза» (1863–1865) — сатирический журнал, издававшийся и редактировавшийся М.П. Розенгеймом. Здесь печатались также Вс. В. Крестовский, В. Бенедиктов, Н. Лейкин. Раскрыть имя автора публикации, которую упоминает Немирович-Данченко, невозможно, потому что журнал все материалы публиковал анонимно. Стихотворение-памфлет о Некрасове и Щедрине «Что думает редактор, когда ему плохо спится» (Заноза. 1863. № 24) и эпизод, рассказанный в очерке, вероятно, относятся к Розенгейму. Он же автор еще более недружелюбной публикации о Некрасове в «Занозе» (1864. № 30) «Русский Ювенал».

Бежецкий — под таким псевдонимом печатался в «Новом времени» А. Н. Маслов.

«Осколки» (1881–1916) — петербургский юмористический художественно-литературный журнал с карикатурами.

«Будильник» — сатирический журнал с карикатурами, издававшийся в 1865–1871 гг. в Петербурге, в 1873–1917 гг. — в

Москве.

Двуликий Янус — в греческой мифологии бог входов и выходов, дверей и всякого начала. Изображался с двумя смотрящими в разные стороны лицами,

…как «Современник» сначала и «Отечественные Записки» потом? — Петербургские журналы Н. А. Некрасова издавались: «Современник» в 1847–1866 и «Отечественные записки» в 1867–1877 гг.

…легкомысленную красавицу, которую он так мученически любил… — Имеется в виду А. Я. Панаева.

…о капиталах, которые она поручила какому-то проходимцу М. — Речь идет об аферисте И. С. Шаншиеве, которого Панаева избрала своим поверенным в делах.

…Тургенев, восторженно любя хотя и гениальную, но не достойную его женщину. — Вероятно, имеется в виду Полина Виардо, знаменитая певица и композитор, много лет дружившая с И. С. Тургеневым.

«Учитесь грамоте по Пушкину». — Сравните с другим высказыванием Некрасова: «Читайте сочинения Пушкина с той любовью, с той же верою, как читали прежде, — и поучайтесь из них…» (Некрасов Н. А. Заметки о журналах за ноябрь 1855 года // Современник. 1855. № 12).

…его стихотворение, посвященное Муравьеву. — Имеется в виду так называемая «муравьевская ода» Некрасова (ее текст не найден), прочитанная поэтом в 1866 г. в Английском клубе на чествовании жестокого усмирителя Польского восстания 1863–1864 гг., председателя следственной комиссии по делу о каракозовском покушении на императора генерала М. Н. Муравьева (ему исполнилось 70 лет). Некрасов пошел на этот политический компромисс (позже он об этом сожалел), пытаясь (как оказалось, безнадежно) спасти свой журнал «Современник». Этот поступок Некрасова, осужденный «шестидесятниками»-радикалами, однако, нашел и сторонников. Например, Г. З. Елисеев, оправдывая поэта, писал: «…Жертва, принесенная чудовищу, умилостивила его и тем спасла литературу, спасла новую идею и ее бойцов, сделала возможным ее скорое возрождение с новыми силами».

Впервые — в журнале «Воля России». Прага. 1924. № 8/9. Печ. по изд. Николай Гумилев в воспоминаниях современников. М.: Вся Москва, 1990. Очерк назван по одноименному стихотворению Н. А. Некрасова — лирической исповеди поэта перед родиной: «От ликующих, праздно болтающих, // Обагряющих руки в крови, // Уведи меня в стан погибающих // За великое дело любви».

«К синей звезде» (Берлин, 1923) — посмертный сборник Гумилева.

…о приключениях в Абиссинии. — В апреле-октябре 1913 г. Гумилев возглавлял экспедицию Академии наук, совершившую путешествие в Африку, на Сомалийский полуостров, для изучения восточно-африканских племен и составления коллекции для петербургского Музея антропологии и этнографии. В 1916 г. Гумилев опубликовал отрывки из своего путевого дневника «Африканская охота».

А. М. Горький на Моховой устроил колоссальное предприятие… — Имеется в виду издательство «Всемирная литература», основанное Горьким 4 сентября 1918 г. в Петрограде при Наркомпросе РСФСР. Он привлек к работе крупнейших деятелей культуры Петрограда. За шесть лет были переведены и изданы около двухсот книг в семи сериях. В 1924 г. «Всемирная литература» вошла в состав Ленгиза (Лениздата).

…заведовал, кажется, отделом французской поэзии… — Гумилев в издательстве «Всемирная литература» был членом редколлегии, заведующим отделом французской литературы и редактором переводных книг.

…чтобы повидаться с Оргом… — Альберт Орг — выпускник Петербургского политехнического института, консул Эстонии в Петрограде. Вместе со славистом Б. Линде основал в Ревеле (ныне Таллинн) издательство «Библиофил» (1921–1923), выпускавшее книги русских писателей. В «Библиофиле» были изданы сборник стихов Гумилева «Шатер», мемуары Немировича-Данченко «На кладбищах», а также книги А. М. Ремизова, Ф. К. Сологуба, А. В. Амфитеатрова, Б. Пильняка, А. Ф. Кони, Н. Н. Евреинова и др.

Кастальский источник — родник на горе Парнас,

посвященный Аполлону и музам; в эллинистическо-римскую эпоху стал символом поэзии.

Термидор — переворот во Франции, свергший 27/28 июля 1794 г. (по республиканскому календарю 9 термидора II года) диктатуру якобинцев.

…о Таганцевском заговоре, к которому пристегнули поэта. — Чекисты назвали участников «таганцевского дела» Петербургской боевой организацией профессора В. Н. Таганцева. В 1922 г. по этому сфабрикованному и широко распропагандированному «делу» были арестованы около тысячи человек, из них 61 в этом же году расстреляли, в том числе Н. С. Гумилева.

Вы слышали о Гумилеве на войне? — В 1914 г. Гумилев добровольцем уланского полка уходит на фронт. За мужество поэт-офицер был награжден двумя Георгиевскими крестами.

Любил его чудесную книжку рапсодий «Конквистадоры». — «Путь конквистадоров» (СПб., 1905) — первый сборник стихов Гумилева.

Николай Степанович жил в…уступленной ему С. К. Маковским, квартире. — На Ивановской ул., 25, кв. 15 (Маковский в это время находился в Крыму) Гумилев прожил до весны 1919 г.

Об этом писали и Амфитеатров и Волковыский… — В очерке «Дом литераторов в Петрограде 1919–1921 годов» А. В. Амфитеатров (он, как и Гумилев, Волковыский, Вас. Немирович-Данченко, был членом комитета этой общественной писательской организации) вспоминал то страшное время:

«Всячески провоцировали, чтобы институт выявил свое „контрреволюционное и антипролетарское настроение“. И опять-таки много дипломатического такта нужно было нашим посредникам и парламентерам, в особенности М Н. Волковыскому, чтобы предупреждать и сглаживать бурные взрывы вражды, одинаково готовые разразиться с той и другой стороны. Тем более что если коллектив Дома Литераторов заковался в панцирь аполитичности, то отдельные члены его к ношению такового отнюдь не были обязаны, а потому то и дело призывались пред грозные очи ЧК держать ответ по обвинению в контрреволюции активной. Из членов комитета Н. С. Гумилева эти подозрения „поставили к стенке“, а меня с женою и сыном

усадили на прошлую весну в тюрьму. Сидели в тюрьме В. Я. Ирецкий, поэт Всеволод Рождественский, публицист Л. С Изгоев, А. Н. Слетова… да разве всех пересчитаешь? Расстрелян был репортер „Речи“ Берзин… И все это на протяжении одного года!» (Встречи с прошлым. Вып. 8. М: Русская книга, 1996. С. 160–161).

…не следовал примеру Петра Апостола, которому нужен был петух, чтобы прийти в себя. — Имеется в виду библейский эпизод, упомянутый в Евангелии от Матфея, где Иисус заявляет Петру: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня». На что Петр отвечает: «Хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя» (гл. 26, ст. 34–35).

«Дитя Аллаха» — драматическая сказка Гумилева (ж-л «Аполлон». 1917 № 6–7).

Как живут и работают русские писатели
Ж-л «Вестник литературы». Пг., 1921. № 3 (27).

Аннотированный Указатель имен

Наш алфавитный аннотированный Указатель основных имен является разделом примечаний, в который вынесен необходимый минимум сведений о лицах, упоминающихся в текстах книги. В указатель не включены имена эпизодические и многие из общеизвестных.

Абдул-Керим-паша (1807–1885) — турецкий генерал. В войне с Сербией в 1876 г. главнокомандующий, в 1877 г. командующий дунайской армией. Умер в ссылке.

Адам Эдмон (Ланбер Жюльетга; 1836–1936) — французская политическая публицистка, хозяйка литературно-политического салона в Париже, который посещали и русские писатели, журналисты, общественно-политические деятели. Автор памфлета «Петербургское общество», повлиявшего на подготовку франко-русского союза. Автор книги о генерале М. Д. Скобелеве, выдержавшей много переизданий.

Адлерберг Александр Владимирович, граф (1818–1888) — государственный деятель, генерал-адъютант (1855), генерал от инфантерии (1869). Управляющий делами императорской Главной квартиры и заведующий Особым отделом Военно-походной канцелярии для собственных дел его императорского величества. Доверенное лицо Александра II. С 1866 г. член Военного совета, член Государственного совета. С 1870 г. министр императорского двора, канцлер российских орденов, председатель Особой комиссии для обсуждения вопроса о замещении должностей гражданских ведомств. В отставке с 1881 г.

Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) — публицист, поэт, издатель, общественный деятель; лидер позднего славянофильства, идеолог панславизма. Редактор газет «День» (1861–1865), «Москва» и «Москвич» (1867–1868), «Русь» (1880–1886). Будучи монархистом, тем не менее занимал самостоятельную, во многом отличавшуюся от официальной точку зрения по многим вопросам внутренней и внешней политики. Важный документ его времени — книга «И. С. Аксаков в его письмах» (т. 1–4, 1888–1896).

Александр, принц Баттенбергский (1857–1893) — сын принца Александра Гессенского, племянник русской императрицы Марии Александровны (1824–1880), жены Александра II. С 1879 по 1886 г. князь Болгарии, ведший антирусскую политику. После свержения с княжеского престола принял титул графа Гартенау.

Александр I Павлович (1777–1825) — император России с 1801 г.

Александр II Николаевич (1818–1881) — император России с 1855 г.

Александр III Александрович (1845–1894) — император России с 1881 г.

Александр Македонский (356–323 до н. э.) — царь Македонии с 336 г. Воспитывался философом Аристотелем. Совершив завоевательные походы, создал крупнейшую монархию древности.

Александров Николай Александрович (1841–1907) — журналист, художественный критик, автор этнографических очерков. Основатель и редактор в 1880–1887 гг. «Художественного журнала».

Алексей Петрович (1690–1718) — царевич, старший сын Петра 1 и его жены Е. Ф. Лопухиной. За отказ поддерживать реформы отца был приговорен к смертной казни.

Алексей Александрович (1850–1908) — великий князь, генерал-адмирал, генерал-адъютант. Участник многих морских походов. В русско-турецкую войну 1877–1878 гг. начальник морских команд на Дунае. С 1881 г. главный начальник флота и морского ведомства России, член Государственного совета. Бездеятельность великого князя привела к расцвету казнокрадства в морском ведомстве, снижению боеспособности флота, что стало одной из причин поражения России в русско-японской войне 1904–1905 гг.

Альба Альварес де Толедо Фернандо (1507–1582) — испанский военачальник; фанатичный католик. Будучи губернатором в Нидерландах, прослыл жестоким диктатором.

Амвросий (в миру Алексей Иосифович Ключарев; 1821–1901) — церковный деятель, духовный писатель. Основал и редактировал в 1860–1867 гг. журнал «Душеполезное чтение». Печатан также проповеди на общественно-политические темы в «Московских ведомостях». С 1882 г. архиепископ Харьковский.

Америго Веспуччи — см. Веспуччи А.

Амфитеатров Александр Валентинович (1862–1938) — прозаик, драматург, публицист, поэт-сатирик, литературный, театральный и музыкальный критик, переводчик, журналист. В эмиграции в 1904–1916 и с августа 1921 г. Жил в Италии (Леванто) с марта 1922 г.

Анна Иоанновна (1693–1740) — российская императрица.

Арнольди Нина (Анна) Александровна (1843?-1921) — прозаик, автор популярного автобиографического романа о русских политэмигрантах «Василиса» (Берлин, 1879), а также

романов на французском языке.

Аспазия (Аспасия; V в. до н. э.) — гетера из Милета, отличавшаяся умом, образованностью и красотой, одна из выдающихся женщин Древней Греции; вторая жена и сподвижница Перикла, крупнейшего из афинских государственных деятелей. Дом Аспазии стал интеллектуальным центром Афин, бывать в котором считал за честь философ Сократ.

Баттенберг Александр — см. Александр, принц Баттенбергский.

Баярд Пьер дю Терайль (1476–1524) — французский военачальник.

Бежецкий (наст. фам. Маслов) Алексей Николаевич (1852–1922) — прозаик, драматург, переводчик пьес Лопе де Вега, шедших на столичных сценах. Автор книги «Завоевание Ахал-Теке. Очерки последней экспедиции Скобелева (1880–1881)». СПб., 1882, 1887. За мужество, проявленное в этой экспедиции, был награжден золотым оружием. Член-учредитель Благотворительного комитета имени генерал-адъютанта Скобелева. С 1904 г. товарищ председателя Литературно-художественного общества. С 1908 г. генерал-лейтенант.

Бейст Фридрих Фердинанд (1809–1886) — австрийский государственный деятель; министр иностранных дел, министр-президент и канцлер. В 1871–1878 гг. посланник в Лондоне, в 1878–1882 в Париже.

Белоголовый Николай Андреевич (1834–1895) — врач, общественный деятель, мемуарист. С 1877 г. сотрудник эмигрантской газеты «Общее дело». Автор крамольных брошюр «Царь и его подпоры трона» (1888), «Как царь любит своих детей» (1889), книги «Воспоминания и другие статьи» (1897).

Биконсфильд — см. Дизраэли.

Бирон Эрнст Иоганн (1690–1772) — фаворит императрицы Анны Иоанновны; обер-камергер ее двора, ставший неограниченным правителем России. Был приговорен к четвертованию, но Анна Леопольдовна заменила приговор ссылкой в Сибирь с лишением чинов и званий. Освобожден от наказания в 1762 г. Петром III.

Бисмарк Отто фон Шёнхаузен (1815–1898) — князь, 1-й рейхсканцлер германской империи в 1871–1890 гг.

Бланки Луи Огюст (1805–1881) — французский революционер.

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836–1921) — прозаик, драматург, публицист, критик, мемуарист.

Боденштедт Фридрих (1819–1892) — немецкий поэт,

драматург, переводчик, путешествовавший по России, Кавказу и Персии.

Борджиа Чезаре (ок. 1475–1507) — правитель Романьи, сын римского папы Александра VI (одного из самых порочных и безнравственных), с которым создавал в Средней Италии государство с абсолютной властью, не брезгуя ради этой цели никакими средствами.

Брандес Георг (1842–1927) — датский критик. Основной труд «Главные течения в европейской литературе» (т. 1–6; 1872–1890).

Бруно Джордано (1548–1600) — итальянский философ и поэт, отстаивавший концепцию о бесконечности Вселенной и множественности миров. Инквизиция обвинила его в ереси и свободомыслии. После восьмилетнего заключения в тюрьме был сожжен на костре.

Булацель Иван Михайлович (1846, по другим сведениям 1845–1918) — журналист, драматург.

Буренин Виктор Петрович (1841–1926) — прозаик, драматург, критик. Сотрудник газеты «Новое время».

Вандербильт — семья американских предпринимателей-миллионеров: Корнелий (1794–1877), его сын Вильям (1821–1885) и др.

Ванновский Петр Семенович (1822–1904) — военный и государственный деятель, генерал-адъютант (1878), генерал от инфантерии (1883). В русско-турецкую войну начальник штаба, а затем командир Рущукского отряда. В 1882–1898 гг. непопулярный в армии военный министр, отличавшийся властностью и грубостью. С 1901 г. министр народного просвещения.

Василевский Ипполит Федорович (псевд. Буква, наст, имя Ипполит-Петр Фердинандович; 1849–1918) — фельетонист, публицист. В 1875–1905 гг. редактор юмористической газеты «Стрекоза».

Васко да Гама — см. Гама.

Вейнберг Петр Исаевич (1831–1908) — поэт, переводчик, историк литературы. В 1870 — 1874 гг. редактор газеты «Варшавский дневник», один из основателей журналов «Век» (1861) и «Изящное искусство» (1883–1885), редактор «Театральной газеты» (1893). В 1897–1901 гг. председатель Союза взаимопомощи русских писателей, а затем — Литературного фонда.

Вейсиль-паша (Вессель) — главнокомандующий Балканской армией турок, капитулировавшей во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805–1827) — поэт, философ, критик.

Венгеров Семен Афанасьевич (1855 — 1920) — историк русской литературы и общественной мысли, библиограф; автор и редактор изданий: «Критико-биографический словарь русских писателей и ученых» (т. 1–6. СПб., 1886–1904), «Русские книги. С биографическими данными об авторах и переводчиках. 1708–1893» (т. 1–3. СПб., 1895–1899), «Источники словаря русских писателей» (т. 1–4. СПб.; Пг., 1900–1917) и др.

Вениамин — младший и любимый сын библейского патриарха Иакова; «сын скорби»: Рахиль, родив его, скончалась. Братья увезли Вениамина в Египет, чтобы продать в рабство.

Верещагин Василий Васильевич (1842–1904) — живописец-баталист. Участник войн в Средней Азии (1867–1876), русско-турецкой (1877–1878), русско-японской (1904–1905). Автор мемуарной книги «На войне». Погиб в Порт-Артуре при взрыве броненосца «Петропавловск». Автор серий картин «Туркестанская», «Балканская», триптиха «На Шипке все спокойно!» и др. В знак дружбы Верещагин и Скобелев (они познакомились в Туркестане в 1870 г.) обменялись своими Георгиевскими крестами, полученными за боевые заслуги.

Веспуччи Америго (1454–1512) — флорентийский мореплаватель, участвовавший в испанских и португальских экспедициях к берегам Нового света (Южной Америки), названного его именем.

Виардо Мишель Фернанда Полина, урожд. Гарсиа (1821–1910) — французская певица и композитор; друг И. С. Тургенева.

Виктория (1819–1901) — королева Англии с 1837 г.

Вильгельм I (1797–1888) — король Пруссии с 1861 г. и император Германии с 1871 г., власть при нем фактически находилась в руках канцлера Бисмарка.

Винавер Максим Максимович (1862–1926) — юрист, публицист, общественный деятель. В 1907–1918 гг. один из лидеров Еврейской народной группы. В 1909–1918 гг. председатель Еврейского историко-этнографического общества. В 1906 г. депутат первой Государственной думы от Петербурга. Издавал газету «Восход» (1902–1906) и журнал «Вестник гражданского права» (1913–1917). Один из учредителей Союза адвокатов, Союза российских писателей и член ЦК конституционно-демократической партии (1905). С 1919 г. в эмиграции в Париже, где основал и редактировал еженедельник «Еврейская трибуна» (1920–1924). Соредактор газеты «Звено» (1923–1926). Автор мемуарной книги «Недавнее. Воспоминания и характеристики» (1917).

Виньи Альфред Виктор де (1797–1863) — французский поэт-романтик, драматург.

Владимир Александрович (1847–1909) — великий князь, третий сын Александра II; государственный и военный деятель, генерал-адъютант (1872), генерал от инфантерии (1880), член Государственного совета (1872). В русско-турецкую войну 1877–1878 гг. отличился в боях, командуя 12-м армейским корпусом (в память об этом в болгарском селе Горный Студень был открыт дом-музей). С 1876 г. президент Императорской Академии художеств, попечитель Румянцевского музея. В 1881–1884 гг. главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа.

Волковыский Николай Моисеевич (1880 — не ранее 1940) — журналист. Один из организаторов Дома литераторов в Петрограде (1918–1922). В ноябре 1922 г. выслан из России. В 1922–1939 гг. постоянный корреспондент в Германии, а затем в Польше рижской газеты «Сегодня». Участник и докладчик от берлинской делегации на Первом съезде зарубежных писателей и журналистов в Белграде (1928).

Волошин Максимилиан Александрович (наст. фам. Кириенко-Волошин; 1877–1932) — поэт, критик, художник, переводчик.

Вольф Маврикий Осипович (1825–1883) — книгоиздатель, владелец книжных магазинов, типограф, издатель журналов. Основанное им в 1882 г «Товарищество М. О. Вольф» выпустило около пяти тысяч названий книг и было закрыто в 1918 г.

Волынский Артемий Петрович (1689–1740) — государственный деятель, дипломат. Боролся с засильем иностранцев при Дворе и с бироновщиной. После зверских пыток вины не признал, не раскаялся и был казнен вместе со своими сторонниками.

Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1837–1916) — государственный деятель, генерал-адъютант (1875); генерал от кавалерии (1890), личный друг Александра III. Участвовал в военных действиях на Кавказе, в Туркестане, участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. С 1881 г. главноуправляющий государственным коннозаводством, министр Императорского двора и канцлер Капитула российских императорских и царских орденов. В 1904–1905 гг. председатель Российского общества Красного Креста. С 1905 г. наместник на Кавказе, главнокомандующий войсками Кавказского округа и войсковой наказной атаман Кавказских казачьих войск.

Гама Васко да (1469–1524) — португальский мореплаватель, проложивший морской путь из Европы в Южную Азию во время

плаваний из Лиссабона в Индию.

Гамбетта Леон (1838–1882) — премьер-министр и министр иностранных дел Франции в 1881–1882 гг. Лидер левых республиканцев.

Ганецкий Иван Степанович (1810–1887) — генерал-адъютант. В русско-турецкой воине 1877–1878 гг. командовал гренадерским корпусом, действовавшим под Плевной.

Гарибальди Джузеппе (1807–1882) — народный герой Италии, один из вождей Рисорджименто, национально-освободительного движения против иноземного господства, за объединение раздробленной Италии.

Гаршин Всеволод Михайлович (1855–1888) — прозаик, критик.

Гверчино Франческо (1591–1666) — итальянский живописец.

Генрих IV (1553–1610) — французский король, первый из династии Бурбонов. Глава гугенотов во время религиозных войн. Убит католиком-фанатиком.

Герцен Александр Иванович (1812–1870) — писатель, философ, публицист, революционер.

Гете Иоганн Вольфганг (1749–1832) — поэт, прозаик, драматург, философ, естествоиспытатель. Основоположник немецкой литературы нового времени.

Гиляровский Владимир Алексеевич (1853, по другим сведениям 1855–1935) — журналист, прозаик, поэт; «король репортеров», написавший знаменитые книги «Москва и москвичи» (1926), «Мои скитания» (1928), «Записки москвича» (1931) и др.

Гире Дмитрий Константинович (1837–1886) — прозаик, журналист. В 1877 г. публиковал в газете «Северный вестник» репортажи с театра русско-турецкой войны. В 1878 — 1880 гг. издавал газету «Русская правда».

Гладстон Вильям Эварт (1809–1898) — английский государственный деятель. В 1868–1874, 1880–1886, 1892–1893 гг. — премьер-министр.

Гнедич Евгения Андреевна — жена П. П. Гнедича, хозяйка литературно-артистического салона.

Гнедич Петр Петрович (1855–1925) — прозаик, драматург, критик, театральный деятель, переводчик, историк искусства.

Гогенцоллерны — династия бранденбургских курфюрстов в 1415–1701, прусских королей в 1701–1918 гг.

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852).

Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич, граф (1848–1913) — поэт, прозаик, мемуарист; автор популярных романсов. В 1889–1895 гг. управляющий Дворянским земельным и Крестьянским поземельным банками. В 1895 г. возглавил личную канцелярию

императрицы Марии Федоровны.

Гольцев Виктор Александрович (1850–1906) — публицист, критик, ученый; сотрудник и редактор многих изданий, в том числе газет «Юридический вестник», «Русский курьер», «Курьер», «Русские ведомости», журналов «Русская мысль», «Вестник Европы», «Русское богатство» и др. Активный приверженец реалистического искусства.

Гончаров Иван Александрович (1812–1891).

Гоппе Герман Дмитриевич (1836–1885) — основатель издательства в Петербурге (1867), выпускавшего в 1867–1900 гг. «Всеобщий календарь», журналы «Всемирная иллюстрация» (1869–1898), «Модный свет» (1868–1883), «Огонек» (1879–1881) и др.

Горбунов Иван Федорович (1834–1895) — прозаик, театровед, актер Александринского театра в Петербурге, зачинатель литературно-сценического устного рассказа.

Горчаков Александр Михайлович (1798–1883) — светлейший князь, государственный деятель, дипломат (с 1817 г.), государственный канцлер (1867). В 1856–1882 гг. министр иностранных дел. Обеспечил нейтралитет европейских держав во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Лицейский однокашник и приятель А. С. Пушкина.

Горький Максим (наст. имя и фам. Алексей Максимович Пешков; 1868–1936).

Грей Томас (1716–1771) — английский поэт; автор элегии «Сельское кладбище», переведенной Жуковским.

Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1900) — прозаик. Автор повестей «Антон Горемыка» (1847) и «Гуттаперчевый мальчик» (1883), принесших ему известность, а также книги «Литературные воспоминания» (1893). В 1858 г. сопровождал А. Дюма в путешествии по России.

Градовский Григорий Константинович (1842–1915) — публицист, печатавшийся в газетах «Голос», «Русское обозрение», «Московский телеграф» и др. Автор книг «Война в Малой Азии в 1877 г.» (1878) и «М. Д. Скобелев» (1884; негативно оценил деятельность генерала).

Гродеков Николай Иванович (1843–1913) — полковник Генерального штаба, впоследствии генерал-лейтенант, член Государственного совета, военный писатель. Участник Кавказской войны и завоевания Средней Азии. В 1883–1893 гг. военный губернатор Сыр-Дарьинской области. В 1898–1906 гг. генерал-губернатор и командующий войсками Приамурского военного округа. В 1906–1908 гг. командующий Туркестанским военным округом.

Грюнберг Ю. О. - управляющий конторой издателя А. Ф. Маркса.

Гумберт (1844–1900) — король Италии с 1878 г. Убит анархистом.

Гумилев Николай Степанович (1886–1921) — поэт, критик, переводчик; один из ведущих акмеистов. Осенью 1920 г. был вовлечен в так наз. «таганцевский заговор» и 24 августа 1921 г. приговорен к расстрелу.

Гурко (Ромейко-Гурко) Иосиф Владимирович (1828–1901) — военный и государственный деятель: генерал-адъютант (1877), генерал-фельдмаршал (1894), член Государственного совета (1886). В русско-турецкой войне 1877–1878 гг. успешно командовал войсками под Плевной и Шипкой, освободил южную Болгарию. После войны командующий войсками Одесского военного округа (1882–1883), варшавский генерал-губернатор (1883–1894).

Гутенберг Иоганн (между 1394–1399 или в 1406–1468) — немецкий изобретатель книгопечатания.

Давид — царь Израильско-Иудейского государства в конце XI в. — ок. 950 до н. э.

Долматов Василий Пантелеймонович (1852–1912) — актер, драматург, фельетонист, играл в московском театре Корша и в петербургском Александринском театре.

Дальский (наст. фам. Неелов) Мамонт Викторович (1865–1918) — актер; в 1890–1900 гг. в Александринском театре в Петербурге.

Дантон Жорж Жак (1759–1794) — деятель Великой французской революции, один из вождей якобинцев. Казнен за примиренческую позицию по отношению к жирондистам, противодействовавшим развитию революции.

Дедлов — см. Кигн В. Л.

Дезе Луи Шарль (1768–1800) — французский генерал; участник египетского и итальянского походов Наполеона Бонапарта. Геройски погиб, руководя сражением при Маренго.

Делянов Иван Давидович, граф (1818–1897) — государственный деятель, статс-секретарь, сенатор. В 1861–1882 гг. директор Императорской публичной библиотеки и товарищ министра народного просвещения, с 1882 г. министр.

Демерт Николай Александрович (1833–1876) — публицист; сотрудник газет «С.-Петербургские ведомости», «Биржевые ведомости», некрасовского журнала «Отечественные записки».

Демосфен (ок. 384–322 до н. э.) — афинский оратор, политический деятель. Автор знаменитых «филиппик», речей

против Филиппа Македонского. После захвата Греции Македонией принял яд.

Джаншиев Григорий Аветович (1851–1900) — историк, публицист, общественный деятель, мемуарист. Автор книги «Эпоха великих реформ» (1892; десять изданий).

Джером Джером Клапка (1859–1927) — английский прозаик и драматург. Автор известной повести «Трое в одной лодке (не считая собаки)».

Дизраэли Бенджамин, граф Биконсфилд (1804–1881) — премьер-министр Великобритании в 1868 и 1874–1880 гг., лидер консервативной партии, писатель.

Димитриев Радко (1859 — ?) — болгарский генерал, окончивший в России Константиновское военное училище и Академию генерального штаба; подполковник российской армии. В 1913 г. главнокомандующий болгарской армией, посланник Болгарии в Петербурге. Автор книги о боевых операциях при Шипке в 1877–1878 гг.

Долгоруков Владимир Андреевич, князь (1810 — 1891) — генерал-адъютант, генерал от кавалерии; в 1865–1891 гг. московский генерал-губернатор.

Дон-Карлос — см. Карлос.

Дорошевич Влас Михайлович (1865–1922) — журналист, публицист, театральный и художественный критик, прозаик.

Дохтуров Дмитрий Петрович (1838–1906) — генерал от кавалерии. Участник Кавказской и русско-турецкой 1877–1878 гг. войн (командовал казачьим полком).

Драгомиров Михаил Иванович (1830–1905) — военный теоретик, педагог, историк, генерал-адъютант (1878), генерал от инфантерии (1895). Под Шипкой в августе 1877 г. был тяжело ранен. С весны 1878 г. начальник Академии Генерального штаба. В 1889–1903 гг. командующий войсками Киевского военного округа и одновременно (с 1898 г.) киевский, подольский и волынский Генерал-губернатор. Автор многих трудов. Приверженец и пропагандист идей А. В. Суворова.

Дурново Иван Николаевич (1845–1903) — главноуправляющий ведомством императрицы Марии с 1866 г., губернатор Екатеринославля (в 1870–1882 гг.), товарищ министра иностранных дел (1882–1886). С 6 мая 1889 г. (после скоропостижной кончины от паралича сердца Д. А. Толстого) по 1895 г. министр внутренних дел. В 1895–1903 гг. председатель Комитета министров.

Дурново Петр Николаевич (1844–1915) — государственный деятель; в 1884–1893 гг. директор департамента полиции, с 1893 — сенатор, в 1900–1906 товарищ министра внутренних дел и

министр, затем член Государственного совета, лидер группы правых.

Елизавета Петровна (1709–1761/62) — императрица России с 1741 г.

Елисеев Григорий Захарович (1821–1891) — публицист; заведовал отделами в журналах «Современник» и «Отечественные записки».

Желтухин Алексей Дмитриевич (1820–1865) — в 1858–1860 гг. издатель «Журнала землевладельцев», член редакционных комиссий по крестьянскому делу и подготовке судебной реформы, помощник статс-секретаря.

Жемчужниковы: Алексей (1821–1908), Александр (1826–1896) и Владимир (1830–1884) Михайловичи — писатели; вместе с двоюродным братом А. К. Толстым соавторы «сочинений» (пародий, комедий, басен, афоризмов и стихотворений) Козьмы Пруткова.

Жирарде Дезидерий — педагог, владелец пансиона в Париже (одного из лучших в Европе), в котором в течение пяти лет воспитывался и получал образование Скобелев. Будущий полководец свободно говорил на восьми европейских языках, был неплохим музыкантом и певцом (баритон), хорошо знал европейскую и русскую литературу. Его мать О. Н. Скобелева, оценивая педагогические усилия Жирарде, говорила: «Нашему старому другу мы обязаны, что Миша стал сдерживать свою пылкую натуру… m-r Жирарде… развил в нем честные инстинкты и вывел его на дорогу». Жирарде и в России сопровождал своего воспитанника многие годы, став его другом.

Жоффр Жозеф Жак (1852–1931) — французский военный деятель; с 1916 г. маршал Франции.

Зиновьев Иван Алексеевич (1835 — ?) — дипломат; с 1876 г. чрезвычайный посол в Персии, директор Азиатского департамента МИД, в 1890-х гг. посол в Швеции и Турции.

Иванов Александр Андреевич (1806–1858) — живописец; автор монументального полотна «Явление Христа народу» (1837–1857).

Иванов Алексей Федорович (псевдоним Классик; 1841–1894) — поэт, прозаик, переводчик. Классиком был еще в отрочестве прозван за страсть к чтению. Получив в наследство суконную лавку отца, превратил ее в место встреч литераторов (здесь бывал и Вас. И. Немирович-Данченко).

Иванюков Иван Иванович (1814–1912) — историк, публицист; постоянный сотрудник «Русских ведомостей», «Русской мысли», «Вестника Европы».

Игнатьев Николай Павлович, граф (1832–1908) — государственный деятель, дипломат, генерал от инфантерии. Более двадцати лет был на дипломатической службе в странах Ближнего и Дальнего Востока. В 1881–1882 гг. министр государственных имуществ, министр внутренних дел, затем в отставке. С 1888 г. — председатель Славянского благотворительного общества.

Иегова, Яхве, Ягве — в иудаизме непроизносимое имя бога, заменявшееся словом Адонай; записывалось четырьмя согласными буквами — тетраграммой YHWH, которая в средние века была прочитана христианскими богословами как Иегова.

Иисус Навин — сподвижник и преемник вождя еврейского народа Моисея; автор библейской Книги Иисуса Навина, входящей в Шестикнижие Ветхого Завета.

Ирод I Великий (ок. 73-4 до н. э.) — царь Иудеи с 40 г. до н. э., родоначальник других одноименных царей, упоминаемых в Новом Завете. Здесь о нем повествуется как о жестоком правителе, который, узнав о рождении Иисуса Христа, повелел избить 14 тысяч младенцев из Вифлеема.

Иуда Искариот — один из 12 учеников Иисуса Христа, предавший его.

Кавур Камилло Бензо де (1810–1861) — итальянский государственный деятель, министр иностранных дел.

Каин — в библейских преданиях старший сын Адама и Евы, убивший из зависти своего брата Авеля.

Канова Антонио (1757–1822) — итальянский скульптор, представитель неоклассицизма.

Каразин Николай Николаевич (1842–1908) — прозаик, художник, журналист. Участник военных действии в Средней Азии, Сербии и русско-турецкой войны как корреспондент «Нового времени» и «Живописного обозрения» (издал репортажи в книге «Дунай в огне»). Автор историко-приключенческих романов. В 1907 г. избран членом Академии художеств.

Карлос Старший дон (1788–1855) — сын испанского короля Карла IV, начавший под именем Карла V так называемые «карлистские войны» за захват власти. В 1872–1876 гг. эту борьбу так же безуспешно продолжил его племянник дон Карлос Младший (1848–1909).

Кауфман Константин Петрович (1818–1882) — генерал-адъютант, инженер-генерал. С 1861 г. директор канцелярии

Военного министерства. В 1865–1867 гг. генерал-губернатор Северо-Западного края и командующий войсками Виленского военного округа. В 1867–1882 гг. генерал-губернатор и командующий войсками Туркестанского военного округа, где служил Скобелев. При Кауфмане в Туркестане построено 60 школ и 2 прогимназии, открыта в Ташкенте первая в Средней Азии публичная библиотека.

Келлер Федор Эдуардович, граф (1850–1904) — генерал-лейтенант (1899). В 1876 г., после окончания Академии Генштаба, вступил добровольцем в сербскую армию (начальник штаба русской добровольческой дивизии). Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. С 1899 г. екатеринославский губернатор. В русско-японскую войну 1904–1905 гг. по личной просьбе был назначен командиром Восточного отряда и погиб в бою на Янзелинском перевале.

Керенский Александр Федорович (1881–1970) — государственный и политический деятель, юрист, публицист. С марта 1917 г. министр юстиции, военный и морской министр, министр-председатель (с июля) Временного правительства. С 1918 г. в эмиграции. Редактор газеты «Дни» (Берлин, Париж; 1936–1940).

Кибальчич Николай Иванович (1853–1881) — член «Земли и воли», участник покушений на Александра II. Повешен. В 1881 г. в заключении создал проект реактивного летательного аппарата.

Кигн Владимир Людвигович (1856–1908) — прозаик, публицист, критик, печатавшийся под псевдонимом Дедлов.

Киприда — прозвище греческой богини любви и красоты Афродиты; в гимне Гомера она появляется из морской пены у берегов Кипра («кипророжденная»).

Кир II Великий (Старший) — основатель персидской державы. Царствовал с 558 по 529 до н. э. Захватил Мидию, Лидию и Вавилонию. Освободил иудеев из вавилонского плена.

Ковалевский Максим Максимович (1851–1916) — историк, социолог; профессор Московского университета.

Козьма Прутков — коллективный псевдоним писателей А. К. Толстого и братьев Жемчужниковых (см.), совместно выступавших в 1850-1860-е годы с пародиями, баснями, афоризмами, комедиями.

Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842) — поэт.

Комиссаржевская Вера Федоровна (1864–1910) — актриса; в 1904 г. в Александринском театре создала свой театр символистской ориентации.

Константин Николаевич, великий князь (1827–1892) — генерал-адмирал, главный начальник флота (1853–1881),

наместник Царства Польского (1862–1863). В 1865–1881 гг. председатель Государственного совета. Меценат.

Кортес Эрнан (1485–1547) — испанский конквистадор, возглавивший в 1519–1521 гг. завоевательный поход в Мексику. В 1524 г. в поисках прохода из Тихого океана в Атлантический пересек Центральную Америку.

Корш Федор Адамович (1852–1923) — драматург (в основном переводчик), юрист, антрепренер, владелец популярного Русского драматического театра в Москве (1882–1917).

Краевский Андрей Александрович (1810–1889) — публицист, издатель Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду» (с 1837 г.), журнала «Отечественные записки» (с 1839 г.), газет «Петербургские ведомости» (1852–1862) и «Голос» (1863–1883).

Крестовская Мария Всеволодовна (в замужестве Картавцева; 1862–1910) — прозаик. Дочь Вс. В. Крестовского.

Крестовский Всеволод Владимирович (1839–1895) — поэт, прозаик. Автор романа «Петербургские трущобы» (1867), дилогии «Кровавый пуф» (1875) и трилогии «Тьма египетская» (1888), «Тамара Бендавид» (1890) и «Торжество Ваала» (1891).

Кромвель Оливер (1485–1540) — лорд — главный правитель Англии с 1539 г. Был обвинен в измене и казнен.

Кропоткин Петр Алексеевич (1842–1921) — теоретик утопического социализма и международного анархизма; географ, геолог, историк, биолог, публицист, мемуарист. Автор знаменитых книг «Дневник» и «Записки революционера».

Крылов Евгений Тимофеевич (?-1894) — генерал-лейтенант; участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

Курбский Андрей Михайлович (1528–1583) — князь, государственный деятель, воевода, писатель, переводчик. Участник Казанских походов и Ливонской войны. Опасаясь опалы Ивана Грозного, бежал в Литву. Автор мемуарного памфлета «История о великом князе Московском» (1573) и обличительных посланий царю.

Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии. Участник военных экспедиций Скобелева в Среднюю Азию и русско-турецкой войны 1877–1878 гг. (был начальником штаба в отряде Скобелева). Военный министр в 1898–1904 гг. В русско-японскую войну неудачно командовал войсками в Маньчжурии (потерпел поражения под Ляояном и Мукденом). В 1916–1917 гг. туркестанский генерал-губернатор.

Лавров Вукол Михайлович (1852–1912) — журналист, переводчик. В 1880–1907 гг. издатель и редактор журнала

«Русская мысль».

Ламздорф Константин Николаевич (1841–1900) — граф, флигель-адъютант, генерал-лейтенант.

Левинский Владимир Дмитриевич (1849–1917) — публицист, критик, редактор-издатель журнала «Будильник». Печатался под псевдонимами Маркиз Ве де Эль, Неприсяжный рецензент, Свой.

Леер Генрих Антонович (1829–1904) — генерал-лейтенант, военный писатель. В 1889–1898 гг. начальник Академии Генерального штаба. Профессор, у которого Скобелев учился в Академии; по его рекомендации молодой штабс-ротмистр после выпуска в 1868 т. был зачислен в Генеральный штаб.

Лейкин Николай Александрович (1841–1906) — прозаик, журналист; «первый газетный увеселитель и любимый комик петербургской публики» (А. В. Амфитеатров). Автор 36 романов и повестей, 11 пьес и свыше 10 тысяч рассказов и очерков. В 1881–1905 гг. редактор-издатель журнала «Осколки», в котором активно сотрудничал А. П. Чехов.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841).

Лигниц (1841–1913) — майор, германский военный агент в России.

Лойола Игнатий (1491?-1556) — основатель ордена иезуитов.

Лорис-Меликов Михаил Тариелович, граф (1825–1888) — генерал-адъютант (1865), генерал от кавалерии (1875). Герой русско-турецкой войны 1877–1878 гг. С 12 февраля по 6 августа 1880 г. главный начальник Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия с неограниченными полномочиями. С 6 августа 1880 г. по 4 мая 1881 г. министр внутренних дел и шеф жандармов. Сторонник примирения общественных движений с монархией путем введения конституции и парламента; обладал диктаторскими полномочиями в конце царствования Александра II. При Александре III, взявшем курс на политическое укрепление самодержавия, Лорис-Меликов с 7 мая 1881 г. оказался не у дел.

Лот — житель Содома, за праведность спасенный, когда город и его жители были подвергнуты небесной каре: уничтожены за разврат и греховность. Жена Лота была превращена в соляной столб.

Лохвицкая Мирра (Мария) Александровна (1869–1905) — поэтесса. Сестра Н. А. Тэффи.

Лохвицкая Надежда Александровна — см. Тэффи.

Лохвицкий Александр Владимирович (1830–1884) — юрист, известный московский адвокат. Автор «Курса уголовного права». Отец М. А. Лохвицкой и Н. А. Тэффи.

Луговой А. (наст. имя и фам. Алексей Алексеевич Тихонов;

1853–1914) — прозаик, поэт, драматург.

Лукашевич (Лукашевич-Хмызникова) Клавдия Владимировна, урожд. Мирец-Имшенецкая (1859–1931) — детская писательница, педагог. Автор около 200 книг, в том числе учебников, хрестоматий и детских календарей.

Людовик XIV (1638–1715) — французский король с 1643 г.

Магомет — см. Мухаммед.

Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) — поэт; автор антологических (в духе античных) произведений, посвященных эпизодам из русской и европейской истории.

Мак-Гахан (Мак-Гэн) Януарий Алоизий (1844–1878) — военный корреспондент американской газеты «Нью-Йорк геральд», участник многих войн. Автор репортажей о Хивинском походе русской армии в 1873 г. Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. сопровождал русскую армию, был ранен, умер от тифа.

Мак-Гахан Варвара Николаевна, урожд. Елагина (1850–1904) — журналистка, беллетристка, переводчица. Жена Я. А. Мак-Гахана. Сотрудничала в газетах «Голос», «Новое время», «Русские ведомости», «Новости и биржевая газета», «Неделя» и др.

Мак-Магон Патрис (1808–1893) — герцог, маршал Франции.

Маковский Константин Егорович (1839–1915) — живописец-портретист, создатель жанровых картин и эффектных красочных полотен на исторические темы.

Маковский Сергей Константинович (1877–1962) — поэт, критик, искусствовед, мемуарист, издатель. Сын К. Е. Маковского. Один из основателей и редакторов журналов «Старые годы» (1907–1915) и «Аполлон» (1909–1917). В эмиграции с 1920 г.; в 1926–1932 гг. заведовал литературно-художественным отделом парижской газеты «Возрождение». Автор мемуарных книг «Портреты современников» (1955) и «На Парнасе Серебряного века» (1962).

Максимов Сергей Васильевич (1831–1901) — очеркист, этнограф, мемуарист, путешественник. Автор известных книг «Год на Севере» (т. 1–2, 1859; итог его путешествия по Белому морю, Ледовитому океану и Печоре), «Сибирь и каторга» (ч. 1–3, 1871), «Соловецкий монастырь» (1872), «Бродячая Русь Христа ради» (1877), «Крылатые слова» (1890), «Нечистая, неведомая и крестная сила» (1903) и др.

Мальцов Сергей Иванович (1810–1893) — генерал-майор (в отставке с 1849). Крупный предприниматель, владевший машиностроительными, металлургическими, стекольными, писчебумажными и др. заводами и фабриками (около 20 крупных

и 130 мелких предприятий так называемого Мальцовского промышленного округа в Орловской, Калужской и Смоленской губерниях).

Мамин (псевд. Д. Сибиряк) Дмитрий Наркисович (1852–1912) — прозаик, драматург.

Марат Жан Поль (1743–1793) — парижский врач, ставший одним из вождей якобинцев во время Великой французской революции 1789–1794 гг. Издатель газеты «Друг народа». Убит Шарлоттой Корде.

Марвин Чарльз (1854–1890) — английский журналист, совершивший путешествия в Россию и Среднюю Азию и написавший об этом книги.

Мария Павловна старшая (1854–1920) — великая княгиня, урожденная принцесса Мекленбург-Шверинская. С 1874 г. жена великого князя Владимира Александровича.

Мария Федоровна, урожд. принцесса датская Дагмар (Мария София Фредерика Дагмар; 1847–1928) — императрица России. С 1866 г. жена Александра Александровича, будущего императора Александра III (с 1881).

Маркс Адольф Федорович (1838–1904) — с 1869 г. петербургский книгоиздатель, с 1870 г выпускал самый популярный в России журнал «Нива» (в приложении — собрания сочинений, географические атласы, альбомы).

Маркс Карл (1818–1883) — философ, социолог, основоположник марксизма, утопического учения о неизбежности перехода к коммунизму в результате пролетарской революции и установления диктатуры пролетариата.

Маслов А. Н. - см. Бежецкий А. Н.

Мачтет Григорий Александрович (1852–1901) — прозаик, поэт.

Мелас Михаил Фридрих Бенедикт (1729–1806) — барон, австрийский фельдмаршал, войска которого в 1800 г. были разбиты в битве при Маренго.

Мельницкий Всеволод Петрович (1827–1866) — военный моряк и журналист, совершивший в 1849 г. плавание на корабле «Смоленск». Участник Крымской войны 1853–1856 гг. Автор путевых очерков и рассказов. Редактор журнала «Морской сборник» (с 1860 г.). Умер от холеры.

Месонье Эрнест (1815–1891) — французский живописец, автор сюжетно-занимательных картин из истории Франции: «Мушкетеры Людовика XIII», «Наполеон при Сольферино» и др.

Мессалина (ок. 25–48 н. э.) — третья жена римского императора Клавдия, прославившаяся распутством и коварством. Уличенная в заговоре, была по приказу Клавдия казнена.

Меттерних Клеменс (1773–1859) — князь, министр иностранных дел и фактический глава австрийского правительства в 1809–1821, канцлер в 1821–1848 гг.

Мидас — в греческой мифологии царь Фригии, наказанный Аполлоном: бог наделил его ослиными ушами за то, что тот, будучи судьей на музыкальном состязании Аполлона и Пана, победу присудил последнему. Царь вынужден был прятать ослиные уши под фригийским колпаком.

Милан — см. Обренович.

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — историк, публицист, политический деятель; один из основателей партии кадетов, председатель ее ЦК и редактор центрального органа «Речь» (до 1917 г.); министр иностранных дел в первом составе Временного правительства. В Париже — председатель Союза русских писателей и журналистов (1922–1943), редактор влиятельной эмигрантской газеты «Последние новости».

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912) — государственный деятель; военный министр (1861–1881). Участник преобразований Александра II, осуществивший реформу в армии, что повысило ее боеготовность. Вышел в отставку при Александре III. С 1898 г. генерал-фельдмаршал. Автор «Дневника» (т. 1–4) и «Воспоминаний» (т. 1–3).

Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835–1889) — поэт-сатирик.

Минье Огюст (1796–1884) — французский историк, один из создателей теории классовой борьбы, видевший в ней главный двигатель истории.

Мирский Лев Филиппович (1858–1920) — князь, покушавшийся 13 марта 1879 г. на жизнь шефа жандармов генерал-адъютанта А. Р. Дрентельна.

Михаил Михайлович (1861–1929) — великий князь, внук Николая I. Без согласия родителей и императора вступил в брак с внучкой А. С. Пушкина Софией Николаевной Нассуской, графиней Меренберг де Торби (1867–1927). За это был исключен со службы, ему было запрещено появляться в России.

Михаил Павлович (1798–1849) — великий князь, младший сын Павла I; генерал-фельдцейхмейстер, генерал-инспектор по инженерной части, главнокомандующий Гвардейским и Гренадерским корпусами.

Михайлов Михаил Ларионович (Илларионович; 1829–1865) — поэт, переводчик, прозаик, публицист, революционер. Осужден на каторжные работы и пожизненное поселение в Сибири.

Михайловский Николай Константинович (1842–1904) — публицист, социолог, критик, теоретик народничества. В 1892–

1904 гг. — редактор журнала «Русское богатство».

Михневич Владимир Осипович (1841–1899) — журналист, беллетрист, историк быта.

Модестов Василий Иванович (1839–1907) — филолог-классик, публицист, историк.

Моисей — библейский пророк; вождь израильского народа, выведший его через пустыню из рабства в Египте. На горе Синай Бог ему вручил скрижали с десятью заповедями. Моисей считается автором «Пятикнижия», первых книг Библии.

Мопассан Ги де (1850–1893) — французский прозаик.

Морозова Варвара Алексеевна (1850–1917) — одна из владелиц Тверской мануфактуры.

Муравьев Михаил Николаевич (1796–1866) — государственный деятель, генерал от инфантерии. В 1857–1862 гг. министр государственных имуществ. Во время польского восстания 1863 г. назначен Виленским военным губернатором и командующим войсками военного округа. Жестоко усмирил восставших, сжег много селений, казнил несколько сот и отправил в ссылку более 5 тысяч человек.

Мухаммед (ок. 570–632) — основатель ислама, пророк; в 630 г. возглавил первое мусульманское теократическое государство в Аравии.

Навуходоносор II — царь Вавилонии в 605–562 до н. э., разрушивший восставший Иерусалим и ликвидировавший Иудейское царство. При нем возведена Вавилонская башня и сооружены висячие сады.

Намык-паша — турецкий дипломат; в 1879 г чрезвычайный посол Турции в Петербурге.

Надсон Семен Яковлевич (1862–1887) — поэт, кумир молодежи 1880-х годов.

Наполеон III (1808–1873) — французский император в 1852 — 1870 гг.

Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877/78) — поэт, прозаик, публицист, редактор-издатель журналов «Современник» (1847–1866) и «Отечественные записки» (совместно с М.Е. Салтыковым-Щедриным с 1868 г).

Немезида — в греческой мифологии богиня возмездия («справедливо негодующая»), следящая за тем, чтобы слишком много благ не выпадало на долю одного человека, и карающая за преступления.

Немирович-Данченко Василий Иванович (1844/45-1936) — прозаик, поэт, публицист, мемуарист. Как корреспондент участвовал в войнах в Средней Азии, в русско-турецкой 1877–

1878, русско-японской 1904–1905 и первой мировой 1914–1918 гг. Автор многих военных романов и очерковых книг о подвигах русских воинов. С 1922 г. в эмиграции (в Берлине и Праге). Брат Вл. И. Немировича-Данченко.

Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858–1943) — прозаик, драматург, театральный деятель и критик, режиссер. Создатель (совместно с К. С. Станиславским) Московского Художественного театра (МХТ; 1898). Брат Вас. И. Немировича-Данченко.

Непокойчицкий Артур Адамович (1813–1881) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии. С 1864 г. член Военного совета, с 1878 г. член Государственного совета.

Нерон (37–68) — римский император; вошел в историю как развратный, жестокосердый тиран.

Нессельроде Карл Васильевич (1780–1862) — граф, министр иностранных дел (1816–1856), государственный канцлер (с 1845). Один из виновников изоляции России во время Крымской войны 1853–1855 гг.

Нефедов Филипп Диомидович (1838–1902) — прозаик, журналист, этнограф, археолог.

Никитин Виктор Никитич (1839–1908) — публицист, прозаик, мемуарист. Автор «Воспоминаний» (1906–1907).

Николай Николаевич Старший (1831–1891) — великий князь, третий сын Николая I, генерал-фельдмаршал. В 1864–1880 гг. главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа. Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. главнокомандующий армией.

Николай Николаевич Младший (1856–1929) — великий князь, генерал-адъютант, генерал от кавалерии. Старший сын Николая Николаевича Старшего. В 1905–1914 гг. главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа. В 1914–1915 гг. Верховный главнокомандующий вооруженными силами России.

Николай I Павлович (1796–1855) — император России с 1825 г.

Николай Чудотворец (Николай Мирликийский, Николай Угодник) — один из самых почитаемых святителей. Жил во времена римского императора Константина Великого (IV в.) и был епископом г. Мир в Ликии (в Малой Азии). Славился тем, что приходил на помощь мореплавателям и утопающим, оказывал заступничество невинно осужденным, вызволял пленных, был заботником о крестьянстве, считался покровителем обучающихся.

Ной — библейский патриарх-праведник, который во время всемирного потопа вместе с сыновьями спасся в ковчеге.

Нотович Осип (Иосиф) Константинович (1847–1914) — публицист, издатель, драматург. В ноябре 1876 г. стал владельцем газеты «Новости», а с 1880 г. — «Биржевой газеты» (слил их в одну). В его изданиях печатались Вас. И. Немирович-Данченко, П. Д. Боборыкин, Н. С. Лесков, Г. К. Градовский, К. Д. Кавелин и др.

Обренович Милан — один из видных представителей княжеской (в 1852–1882 гг.) и королевской (в 1882–1903 гг.) династии Обреновичей в Сербии. В тексте, возможно, имеется в виду сербский князь Милан IV Обренович (1854–1901), занявший королевский трон в 1882 г. под именем Милана I.

Огарев Николай Платонович (1813–1877) — поэт, публицист.

Осман-Нури-паша (по прозванию Гази — Непобедимый; 1837–1900) — турецкий генерал, прославившийся геройской защитой Плевны в 1877 г. Во время одной из вылазок был ранен и сдался в плен вместе со своей армией. В 1878–1885 гг. военный министр Турции.

Павел I (1754–1801) — император России с 1796 г.

Палицын Авраамий (в миру Аверкий Иванович; ок. 1550–1626) — келарь Троице-Сергиева монастыря в 1608–1619 гг., писатель. Автор книг «Повесть 1606 г.» (часть «Иного сказания»), «История в память сущим предыдущим родам». Умер иноком Соловецкого монастыря.

Пальмин Лиодор (Илиодор) Иванович (1841–1891) — поэт.

Панаева Авдотья (Евдокия) Яковлевна, урожд. Брянская; во втором браке Головачева (1820–1893) — прозаик, мемуаристка. Мать писательницы Е. А. Нагродской.

Петроний Арбитр — римский писатель, занимавший высокие должности при дворе императора Нерона и называвшийся «арбитром изящества». Заподозренный в заговоре, был в 66 г. принужден Нероном покончить самоубийством.

Плещеев Александр Алексеевич (1858–1944) — прозаик, очеркист, критик, драматург. Директор петербургского Литературно-артистического клуба. Автор мемуаров «Что вспомнилось за 50 лет. Театральные воспоминания» (Париж, 1931). С 1919 г. в эмиграции в Париже. Сын А. Н. Плещеева.

Плещеев Алексей Николаевич (1825–1893) — поэт, прозаик, критик.

Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) — государственный деятель конца XIX — начала XX в. Ученый-правовед, переводчик и публицист. Учитель цесаревича Николая Александровича, императоров Александра III и Николая II, а

также членов семьи венценосцев. С мая 1880 по 1905 г. обер-прокурор Святейшего Правительствующего Синода.

Полежаев Александр Иванович (1804–1838) — поэт, отправленный в солдаты за признанную крамольной поэму «Сашка» (1825).

Помяловский Николай Герасимович (1835–1863) — прозаик, автор известного цикла «Очерки бурсы» (1863).

Поппея Сабина (ок. 31–65) — сперва любовница, а затем вторая жена императора Нерона. Была причастна к убийству рвущейся к власти матери императора и его первой жены. Заподозренная в неверности, беременная Поппея была убита Нероном пинком в живот.

Потапенко Игнатий Николаевич (1856–1929) — прозаик, драматург, критик. Автор воспоминаний об А. П. Чехове, с которым встречался и переписывался.

Проппер Станислав Максимилианович (1855–1931) — коммерции советник, разбогатевший маклер. Основал в Петербурге газету «Биржевые ведомости» (1880–1917), снискавшую славу беспринципного издания.

Протич Коста (1831–1892) — сербский генерал и политический деятель; в 1873–1875 и 1888 гг. военный министр.

Протопопов Михаил Алексеевич (1848–1915) — критик, публицист.

Пушкарев Николай Лукич (1842–1906) — поэт, драматург, переводчик, издатель журналов «Европейская библиотека», «Мирской толк», «Свет и тени».

Радецкий Федор Федорович (1820–1890) — генерал от инфантерии. В русско-турецкую войну 1877–1878 гг. командовал Южным отрядом, оборонявшим перевалы через Балканы (в том числе Шипку; популярной стала фраза из его боевых донесений: «На Шипке всё спокойно»). В 1880-х гг. командовал Харьковским и Киевским военными округами.

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669) — голландский живописец, рисовальщик, офортист.

Робеспьер Максимилиан (1758–1794) — деятель Великой французской революции, один из вождей якобинцев. Казнен термидорианцами, свергшими диктатуру якобинцев.

Розенгейм Михаил Павлович (1820–1887) — поэт; в 1863–1865 гг. издавал сатирическую газету «Заноза».

Романовы — династия российских царей и императоров, занимавшая престол с 1613 до февраля 1917 г.

Ростовцев Яков Иванович (1803/04-1860) — граф, государственный деятель, генерал от инфантерии (1859),

возглавлявший с 1835 г. военное образование в России. Один из деятельных участников подготовки крестьянской реформы 1861 г (автор программы отмены крепостного права).

Рубинштейн Николай Григорьевич (1835–1881) — пианист, дирижер. Брат композитора А. Г. Рубинштейна. Организатор Московской консерватории (1866). Один из лучших исполнителей произведений П. И. Чайковского, посвятившего ему 1-ю симфонию, 2-й фортепьянный концерт и написавшего фортепьянное трио «Памяти великого художника» (1882).

Садовский Пров Михайлович (наст. фам. Ермилов; 1818–1872) — актер Малого театра, участвовавший в первых постановках всех пьес А. Н. Островского. Основатель знаменитой актерской династии.

Салиас де Турнемир Евгений Андреевич (1840–1908) — прозаик, автор популярных исторических романов.

Сарду Викторьен (1831–1908) — французский драматург, академик.

Сапфо (Сафо) — древнегреческая поэтесса VII–VI вв. до н. э. Жила на о. Лесбос, где организовала кружок знатных девушек и обучала их музыке, пению, танцам и стихосложению. Из-за несчастной любви покончила с собой, бросившись со скалы.

Семевский Михаил Иванович (1837–1892) — историк, журналист. Основатель (1870) и редактор-издатель исторического журнала «Русская старина».

Сервантес Сааведра Мигель де (1537–1616) — испанский прозаик, поэт, драматург. Автор шедевра мировой литературы, романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1605–1615).

Скабичевский Александр Михайлович (1838–1910) — критик, историк литературы, мемуарист.

Скобелев Дмитрий Иванович (1821–1880) — генерал-лейтенант. Отец М. Д. Скобелева.

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии. В 1876–1877 гг. военный губернатор Ферганской области (в 1910–1924 гг. именем полководца назывался г. Фергана). Герой русско-турецкой войны 1877–1878 гг. (особенно отличился в боях под Плевной и Шипкой). Участник Ахал-Текинской экспедиции 1880–1881 гг.

Скобелева Надежда Дмитриевна — сестра М. Д. Скобелева.

Скобелева Ольга Николаевна, урожд. Полтавцева (1823–1880) — мать М. Д. Скобелева; участница русско-турецкой войны 1877–1878 гг.: организатор санитарных отрядов, начальник лазарета, заведующая Болгарским отделом Красного Креста.

Погибла в Болгарии от рук бандита.

Слепцов Василий Алексеевич (1836–1878) — прозаик.

Смирдин Александр Филиппович (1795–1857) — издатель и книгопродавец, печатавший сочинения А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, В. А. Жуковского и др., а также издававший журнал «Библиотека для чтения», альманах «Новоселье». Впервые в русской печати ввел авторский гонорар.

Соболев Леонид Николаевич (1844-?) — полковник Генерального штаба, позднее генерал-лейтенант. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Министр-президент и министр внутренних дел Болгарии в 1882–1883 гг.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) — философ, поэт, богослов, публицист, оказавший огромное влияние на русскую философию и культуру Серебряного века. Сын С. М. Соловьева.

Соловьев Михаил Петрович (1842–1901) — государственный деятель; с 1896 по 1900 г — начальник главного управления по делам печати. Миниатюрист-любитель.

Соломко Сергей Сергеевич (1867–1928) — художник-график, иллюстратор произведений А. П. Чехова.

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826–1911) — историк, журналист, профессор всеобщей истории в Петербургском университете. С 1865 по 1908 г. основатель и редактор-издатель журнала «Вестник Европы», а также газеты «Порядок», имевших репутацию либеральных.

Столетов Николай Григорьевич (1834–1912) — генерал от инфантерии, член Государственного совета (1899). Участник Крымской войны 1853–1856 гг. В 1860-х гг. служил в Туркестане, где основал г. Красноводск, руководил Амударьинской научной экспедицией. В русско-турецкой войне 1877–1878 гг. один из руководителей обороны Шипки.

Стэнли Генри Мортон (наст. имя и фам. Джон Роулендс; 1841–1904) — журналист, путешественник, исследователь Африки.

Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) — журналист и издатель; основал в Петербурге газету «Новое время» (1876) и журнал «Исторический вестник» (1880). На паях с П. П. Гнедичем и П. Д. Ленским организовал в Петербурге частный театр (1895–1917), который с 1912 г. назывался Театром литературно-художественного общества имени А. С. Суворина.

Суворин Алексей Алексеевич (1862–1937) — сын А. С. Суворина, журналист. С 1888 г. фактический редактор «Нового времени». В 1903 г. основал газету «Русь».

Суворов Александр Васильевич (1730–1800), граф Рымникский, князь Италийский — полководец, генералиссимус

(1799), не проигравший ни одного сражения. Автор военно-теоретических работ «Полковое учреждение», «Наука побеждать», в которых обоснованы наступательные принципы ведения войны и боя, а также изложена суворовская система воспитания и обучения войск.

Сулейман-паша (1838–1892) — турецкий генерал; в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. главнокомандующий в Верхней Румелии, а затем дунайской армией. 17 января 1878 г. разбит войсками генерала И. В. Гурко.

Таганцев Владимир Николаевич (1886–1921) — профессор. Обвинен в контрреволюционной деятельности, создании Петербургской боевой организации. Расстрелян 25 августа 1921 г. вместе с 61 сподвижником (среди них — поэт Н. С. Гумилев).

Твен Марк (наст. имя и фам. Сэмюэл Ленгхорн Клеменс; 1835–1910) — американский писатель.

Теккерей Уильям Мейкпис (1811–1863) — английский прозаик. Автор романов «Ярмарка тщеславия» (1848), «Пенденнис» (1850), «Виргинцы» (1857).

Терпигорев (псевдоним Атава) Сергей Николаевич (1841–1895) — прозаик, очеркист.

Тестов И. Я. - владелец московского трактира на Красной Пресне, в котором во второй половине XIX в. выступал цыганский ансамбль, пользовавшийся большой популярностью.

Тихомиров Дмитрий Иванович (1844–1915) — педагог, редактор журнала «Детское чтение».

Тихомиров Лев Александрович (1852–1923) — историк, публицист, сотрудник, а затем редактор газеты «Московские ведомости». В молодости входил в партии террористов «Земля и воля» и «Народная воля». В 1888 г. был помилован и возвратился из эмиграции. Автор монографии «Монархическая государственность».

Тихонов А. А. - см. Луговой А.

Тихонов Владимир Алексеевич (псевдоним Мордвин; 1857–1914) — прозаик, драматург, публицист. Офицером участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878 гг.

Толстой Дмитрий Андреевич, граф (1823–1889) — государственный деятель, историк. Член Государственного совета (1866), обер-прокурор Святейшего Синода и одновременно министр народного просвещения (1865–1880). Инициатор реформы среднего образования (1871). В апреле 1880 г. был уволен с постов (министром стал А. А. Сабуров, а обер-прокурором Победоносцев). В 1882 — 1889 гг. — министр внутренних дел и шеф жандармов. С 1882 г. — президент

Академии наук.

Торквемада Томас (ок. 1420–1498) — глава испанской инквизиции (великий инквизитор), инициатор изгнания евреев из Испании.

Тотлебен Эдуард Иванович (1818–1884) — граф, герой Севастопольской обороны; в русско-турецкую войну 1877 — 1878 гг. руководил осадой Плевны. С 1879 г. генерал-губернатор Одессы.

Тэффи Надежда Александровна, урожд. Лохвицкая, в замужестве Бучинская (1872–1952) — прозаик, поэт, критик, драматург. С конца 1919 г. в эмиграции в Париже. Сестра М. А. Лохвицкой.

Тютчев Федор Иванович (1803–1873) — поэт, дипломат.

Успенский Глеб Иванович (1843–1902) — прозаик, создатель очерковых циклов «Нравы Растеряевой улицы», «Власть земли» и др.

Феоктистов Евгений Михайлович (1828–1898) — государственный деятель, публицист, историк. В основном разделял взгляды Победоносцева. Печатался в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русская речь» и др. В 1871–1883 гг. редактор «Журнала министерства народного просвещения». В 1883–1896 гг. возглавлял Главное управление по делам печати. Автор мемуаров «За кулисами политики и литературы».

Фердинанд I Кобургский (1861–1948) — немецкий принц, избранный в 1887 г. князем, а в 1908–1918 гг. провозглашенный царем Болгарии. Отрекся от престола.

Фет (наст. фам. Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820–1892) — поэт.

Фидлер Федор Федорович (1859–1917) — библиограф, переводчик. Составитель сб. «Первые литературные шаги. Автобиографии современных русских писателей» (М, 1911).

Филипп (в миру Федор Степанович Колычев; 1507–1569) — митрополит Московский и всея Руси с 1566 г. До этого Филипп 11 лет провел в Соловецком монастыре послушником и иноком, а в 1548 г. стал его игуменом. Погиб мученической смертью: палач Ивана Грозного Малюта Скуратов задушил низложенного митрополита подушкой в келье тверского монастыря. Мощи Филиппа, объявленного в 1875 г. святым, были перевезены в Соловки в 1591 г.

Филиппов Тертий Иванович (1825–1899) — государственный деятель, публицист, богослов; славянофил. В 1878–1899 гг. —

товарищ государственного контролера и государственный контролер. Член Государственного совета.

Форбс Арчибальд (1836–1900) — военный корреспондент английской газеты «Daili News» во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

Фрейсине Шарль Луи де Сольс (1828–1923) — французский политический деятель, помощник Гамбетты в реорганизации армии. В 1879–1900 гг. занимал в правительстве различные министерские посты.

Фридрих II Прусский (Великий; 1712–1786) — король Пруссии с 1740 г.; полководец, дипломат.

Фридрих Вильгельм III (1770–1840) — король Пруссии с 1797 г.

Фрина (IV в. до н. э.) — афинская красавица-гетера, увековеченная на многих живописных полотнах. Она послужила также прототипом для древнегреческого ваятеля Праксителя (ок. 390 — ок. 330 до н. э.), своего любовника, создавшего скульптуру «Афродита Книдская» (одно из первых изображений обнаженной богини любви). А живописец Апеллес (2-я половина IV в. до н. э.) написал ее портрет на картине «Афродита, выходящая из пены».

Харитоненко Иван Герасимович (1820–1891) — крупный сахарозаводчик, занимавшийся благотворительной деятельностью.

Хитрово Михаил Иванович (1834–1903) — писатель, один из основателей Палестинского православного общества (1882).

Хлудов Алексей Иванович (1818–1882) — предприниматель, общественный деятель. В 1859–1865 гг. председатель Московского биржевого комитета, в 1862–1867 гг. председатель Московского отделения Департамента торговли и мануфактур. Собрал коллекцию древнерусских рукописей и книг (ныне в Историческом музее).

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939) — поэт, прозаик, критик, мемуарист. С 1922 г. в эмиграции.

Хомяков Алексей Степанович (1804–1869) — поэт, философ, богослов, критик, публицист; основоположник славянофильства (вместе с И. В. Киреевским).

Хрущов-Сокольников Гавриил Александрович (1845–1890) — поэт, переводчик, печатавшийся в журналах «Будильник» «Мирской толк», «Свет и тени».

Цинциннат — римский полководец, в 460 г. до н. э. консул. Скромно жил в деревне. По преданиям, являл собою пример добродетели, верности долгу и храбрости. В 458 г., когда римские

войска попали в окружение, грозившее им гибелью, сенат призвал его принять обязанности диктатора. Цинциннату удалось разгромить неприятеля.

Черевин Петр Александрович (1837–1896) — генерал-адъютант; в 1880 — 1883 гг. товарищ министра внутренних дел, затем начальник охраны Александра III. 13 ноября 1881 г. на него было совершено покушение.

Черкасский Владимир Александрович (1824–1878) — князь, государственный деятель, публицист-славянофил. Участник подготовки и проведения крестьянской реформы 1861 г. В 1870–1871 гг. московский городской голова. Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. заведовал гражданским управлением при штабе главнокомандующего и состоял уполномоченным Красного Креста. В 1877 г. руководил устройством гражданского управления в освобожденной Болгарии.

Черниговский-Вишневский Федор Владимирович (1838–1916) — поэт, переводчик.

Черняев Михаил Григорьевич (1828–1898) — генерал-лейтенант (1882), в 1864–1866 гг. участник военных экспедиций в Среднюю Азию; в 1875–1876 гг. редактор-издатель газеты «Русский мир», главной трибуны панславизма. Вопреки воле правительства в 1876 г. во время герцеговинско-боснийского восстания занял пост главнокомандующего сербской армией. С 1882 по 1884 г. генерал-губернатор Туркестана.

Чехов Антон Павлович (1860–1904).

Чуковский Корней Иванович (наст. имя и фам. Николай Васильевич Корнейчуков; 1882–1969) — критик, литературовед, историк литературы, детский писатель, переводчик.

Швейниц Ганс Лотар (1822–1901) — в 1865–1869 гг. прусский военный агент в Петербурге, с 1876 по 1893 г. германский посол при русском дворе.

Шиллер Иоганн Фридрих (1759–1805) — немецкий поэт, драматург, историк.

Шувалов Петр Андреевич (1827–1889) — граф, государственный деятель, генерал-майор свиты; с 1861 г. — управляющий III Отделением Собственной его императорского величества канцелярии, начальник штаба корпуса жандармов. В 1874–1879 гг. — посол в Англии.

Шумский (наст. фам. Чесноков) Сергей Васильевич (1820–1878) — актер Малого театра.

Щеглов (наст. фам. Леонтьев) Иван Леонтьевич (1856–

1911) — прозаик, драматург, театровед; автор воспоминаний об А. П. Чехове.

Щербак Александр Викторович (1848–1884) — врач, публицист; участник русско-турецкой воины и военной экспедиции в Среднюю Азию. Автор книг «Черногория и ее война с турками в 1877–1878 гг.», «Ахал-Текинская экспедиция Скобелева в 1880–1881 гг.» и др.

Юрьевская Екатерина Михайловна, урожд. княжна Долгорукова (1847–1922) — фаворитка Александра II, состояла с императором в морганатическом браке и имела от него четырех детей. 5 декабря 1880 г., после смерти императрицы Марии Александровны, получила фамилию и титул светлейшей княгини Юрьевской. Автор книги об Александре II.

Яворская Лидия Борисовна, урожд. Гюббенет, в замужестве Барятинская (1872–1921) — актриса.

Якоби (Якобий) Валерий Иванович (1834–1902) — живописец, член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок (1870). Автор картин «Петр и царевич Алексей», «Утро во дворце Императрицы Анны», «Привал арестантов», «Свадьба в Ледяном доме», «Робеспьер», «Волынский в кабинете министров» и др.

Яхве — см. Иегова.

notes

Примечания

1

Вас. Немирович-Данченко. Зигзаги и Профили. Изд. «Просвещение», 1913.

2

Площадь Фрари (ит.).

3

Апельсиновое мороженое (фр.).

4

Это господин Чехов (фр.)

5

В таком случае представьте меня, я хочу познакомиться (фр.).

6

Вот как! Это господин Чехов (фр.).

7

Известный, знаменитый (фр.).

8

Господин Форсе (фр.).

«Маленькая Ницца» (фр.).

10

Московская красавица (фр.).

11

Это очень красиво — Мопассан (фр.).

12

Подобно мужику (фр.).

13

купец

14

Это [1], всегда купец (фр.).

15

Английский бульвар (фр.).

16

Дорогая (фр.).

17

Добрый день, мой дорогой! (Фр.)

18

«Искусство» (нем.)

19

Сладкое ничегонеделанье (ит.).

20

Избранная часть какого-либо общества (фр.).

21

Файф-о-клок (англ.); чаепитие между вторым завтраком (ленчем) и обедом, принятое в Англии и США.

22

Чтобы познакомиться (фр.).

23

Вольнодумку (фр.).

Двойника вашего Теккерея (фр.).

25

Для соблюдения приличий (фр.).

26

Извините (фр.).

27

Старый господин весьма пожеванный (фр.).

28

Весьма опрятный (фр.).

29

Вот-вот! (Фр.)

Великосветские (от фр. grand duc: великий герцог).

31

Он не был русским! (Фр.)

32

В «Маленькой Ницце» в числе знатных иностранцев (фр.).

33

Избранная часть какого-либо общества (фр.).

34

Весьма плохой ученик (фр.).

«Виллу Чехова» в Крыму (фр.).

«Женихи» (исп.).

37

Принц-консорт; супруг царствующей королевы (англ.).

38

Дворец… Катальди (ит.).

39

Скальковский — брат писателя.

40

Четырехстишие Дм. Минаева тогдашнему временщику, диктатору политики сердца графу Лорис-Меликову:

На первый раз, хоть куцую
Нам дайте конституцию!
Мы сами уж потом
Снабдить ее хвостом,

Это один из вариантов.

41

Счастливы обладающие (лат.).

42

Поголовно все (ит.).

43

Грандотель «Болгария» (фр.).

44

Господин редактор газеты «Новости» (фр.).

45

Отель «Англетер» (фр.).

Из хорошей семьи (фр.).

Вкладывается в уши (ит.).

Прыжок (скачок) Тиберия (ит.).

49

Сколь благословенны будут ноги того, // Кто придет возвестить мне о моей смерти (фр). А. де Виньи. Гнев Салкона.

50

Стихи написаны в прошедшем времени. Гумилев читал их в настоящем. — Примеч. автора.

51

Танец (пляска) смерти (фр.).